

Humanitas

Андрей Медушевский

Политическая история русской революции:

нормы, институты, формы
социальной мобилизации
в XX веке

Humanitas

Андрей Медушевский

**Политическая история
русской революции: нормы,
институты, формы социальной
мобилизации в XX веке**

«ЦГИ Принт»

2017

УДК 11.01
ББК 66.0

Медушевский А. Н.

Политическая история русской революции: нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке / А. Н. Медушевский — «ЦГИ Принт», 2017 — (Humanitas)

ISBN 978-5-98712-699-8

Книга А. Н. Медушевского – первое системное осмысление коммунистического эксперимента в России с позиций его конституционно-правовых оснований – их возникновения в ходе революции 1917 г. и роспуска Учредительного собрания, стадий развития и упадка с крушением СССР. В центре внимания – логика советской политической системы – взаимосвязь ее правовых оснований, политических институтов, террора, форм массовой мобилизации. Опираясь на архивы всех советских конституционных комиссий, программные документы и анализ идеологических дискуссий, автор раскрывает природу номинального конституционализма, институциональные основы однопартийного режима, механизмы господства и принятия решений советской элитой. Автору удастся радикально переосмыслить образ революции к ее столетнему юбилею, раскрыть преемственность российской политической системы дореволюционного, советского и постсоветского периодов и реконструировать эволюцию легитимирующей формулы власти. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 11.01
ББК 66.0

ISBN 978-5-98712-699-8

© Медушевский А. Н., 2017

© ЦГИ Принт, 2017

Содержание

Введение. Феноменология революции: проблемы, методы, источники исследования	7
Глава I. Старый порядок и революция в России	26
1. Социальный кризис с позиций теории и методологии когнитивной истории: закон Токвиля и русская революция	27
2. Консервативная, реформистская и радикально-революционная стратегии разрешения социального конфликта	29
3. Природа революционного мифа: генезис, структура и формы проявления	37
4. Фазы революционного цикла как выражение форм когнитивного доминирования	42
5. Причины крушения российского Старого порядка: социологические схемы русской революции	47
6. Русская революция в контексте концепции переходных процессов	52
7. Логика революционного процесса	55
Глава II. Причины крушения демократической республики в 1917 году	57
1. Конфликт легитимности и законности: проблема преемственности власти в ходе и после Февральской революции	59
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Андрей Медушевский
Политическая история русской
революции: нормы, институты, формы
социальной мобилизации в XX веке

© С. Я. Левит, автор проекта «Humanitas», составитель серии, 2017

© А. Н. Медушевский, 2017

© Центр гуманитарных инициатив, 2017

* * *

*Моей маме – Светлане Михайловне Медушевой, показавшей мне
различие добра и зла, и моей тете – Ольге Михайловне Медушевой,
научившей меня понимать его.*

Введение. Феноменология революции: проблемы, методы, источники исследования

Столетие русской революции 1917 г. есть фундаментальный, но не вполне оцененный обществом факт российского национального самосознания, формирования культурной, гражданской и правовой идентичности. Дискуссии по крупнейшим революциям прошлого – английской, американской, Французской, германской, приуроченные к их юбилеям, выполняли роль поиска национального консенсуса в данных странах. Ничего подобного нет в России: во-первых, отсутствует национальный консенсус – социологические опросы показывают сохраняющийся раскол общества (практически пополам) в отношении революции, большевизма, сталинизма и итогов советского эксперимента; во-вторых, не преодолено наследие идеологических стереотипов прошлого, возрождающихся в различных новых модификациях; в-третьих, нет единства в академическом сообществе даже по вопросу о подходах к изучению данного феномена. До настоящего времени в литературе действует система мифов, доставшихся от эпохи революции или сформулированных в последующее время, общая природа которых состоит в подмене доказательных научных выводов метафизическими (идеологизированными) конструкциями.

Весь XX век наполнен полемикой сторонников и противников русской революции, а главная тема – идея социальной справедливости, определявшая (в ее коммунистическом понимании) содержание этики, институтов и политики государства. Революция породила социальный миф – т. е. не подлинную, а изобретенную историю происхождения государства, основанную не на знании, но на вере. Мифологическое сознание в отличие от конструкций, выработанных эмпирическим мышлением и критическим разумом, выражает не знание, но систему символов, принимаемых на веру. Миф как символическое явление, говорит Э. Кассирер, становится мистерией: «его подлинное значение и его подлинная глубина заключается не в том, что он выражает своими собственными фигурами, а в том, что он скрывает». Мифологическое сознание, подобно зашифрованному письму, «понятно только тому, кто обладает необходимым для этого ключом, т. е. тому, для кого особые содержательные элементы этого сознания в сущности не более, чем конвенциональные знаки для “иного”, в них самих не содержащегося»¹. Отсюда необходимость толкования мифов – выявления их скрытого смыслового содержания, будь то теоретического или морального. Подобная работа должна быть последовательно проведена в отношении революционного мифа, если мы хотим не просто регистрировать содержание, но понять его смысл. Распространение и длительное существование революционного мифа объясняется тем, что он стал основой советского государства, направленно формировавшего социальный заказ по его поддержанию на всем протяжении своего существования. Содержание мифа определялось постулатами утопической коммунистической (марксистско-ленинской) идеологии, структура была вполне логична (во многом соответствуя структуре религиозного мифа), а функция очевидна – поддержание легитимности однопартийной диктатуры. Динамика развития революционного мифа корректировалась внешними и внутренними системными вызовами.

Определяющее значение получили пять основных интерпретаций, возникших в XX в. и перешедших в современную историографию: идеи сторонников революции (начало новой эры коммунизма во всемирном масштабе); ее противников, прежде всего контрреволюционной эмиграции (революция как катастрофа – «Смута», закончившаяся крушением российской государственности); идеологии сталинизма (создание особой советской государственности

¹ Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2. Мифологическое мышление. М., 2015. С. 52.

нового типа); взгляды, характерные для эпохи «Оттепели» и затем Перестройки (возвращение к истокам революционной идеологии для преодоления исторических искажений и построения «подлинной» социалистической демократии); наконец, представления постсоветских демократических преобразований (радикальное отрицание всего советского наследия во имя демократии западного типа). Логика развития мифа, связанная с динамикой советского режима, прошла путь от преклонения перед революцией в почти сакральном смысле до превращения ее идей в собственную карикатуру и столь же решительного их отрицания. Значение этих идеологических конструкций чрезвычайно велико, поскольку фиксирует этапы развития легитимирующей формулы, однако ни одна из них (в силу метафизического характера) не может быть положена в основу научного знания о революции, подтверждая известную максиму Маркса: нельзя понять смысл исторической эпохи, исходя из того, что она сама думает и говорит о себе и используя терминологию самой эпохи. В целом эти конструкции не способны объяснить, каким образом масштабный революционный социальный проект, осуществлявшийся с невиданным энтузиазмом и бесчисленными жертвами на протяжении столетия, пришел к своему катастрофическому завершению и почему коммунизм, воспринимавшийся как спасение человечества от социального угнетения, тихо ушел с исторической сцены – не под звуки канонады, а шаркающей походкой старика, переставшего ориентироваться в новых реалиях.

Метод настоящего исследования определяется теорией когнитивной истории, четко обозначившей смену парадигм в историческом познании – переход от нарративной (описательной) истории к истории как строгой науке, которая видит решение проблемы доказательности в изучении целенаправленной человеческой деятельности². Развиваясь в эмпирической реальности, данная деятельность неизбежно сопровождается фиксацией ее результатов созданием интеллектуальных продуктов или вещей (выступающих с позиций исторической науки в качестве источников, намеренная и ненамеренная информация которых может быть расшифрована исследователем для получения достоверного знания о прошлом)³.

«Причину смены парадигм, – писала О. М. Медушевская, – теоретики видят в неспособности старой теории ответить на вызов логики эксперимента или наблюдения. Соотнеся это положение с ситуацией в гуманитарном знании XX в., можно видеть причину смены парадигм в исторической науке в неспособности нарративистской истории ответить на вызовы глобального миропорядка; нарративы противостоят друг другу, но ничего не объясняют. Неэффективен нарратив и в объяснении феномена информационного пространства технологий: слова и вещи утрачивают привычную связь, возникает новый информационный универсум, а глубинный порядок вещей, связь слов и вещей на фундаментальном общечеловеческом уровне не поддается традиционным объясняющим схемам»⁴. Ответом на этот глобальный вызов стала теория когнитивной истории в гуманитарном (историческом) познании. Можно признать, что речь идет действительно о новой парадигме, дающей объяснение исторического опыта и рас-

² Основы данного подхода представлены в книгах создателя теории когнитивной истории: *Медушевская О. М.* Теория и методология когнитивной истории. М., 2008; *Она же.* Теория исторического познания: Избранные произведения. СПб., 2010; *Она же.* Пространство и время в науках о человеке: Избранные труды. М.; СПб., 2013.

³ Когнитивная история: концепция, методы, исследовательские практики. Чтения памяти профессора О. М. Медушевской. М., 2011; Круглый стол по книге О. М. Медушевской «Теория и методология когнитивной истории» // *Российская история.* 2010. № 1. С. 131–166; *Человек: образ и сущность. Когнитология и гуманитарное знание.* М., 2010; «Знание о прошлом в современной культуре»: Круглый стол // *Вопросы философии.* 2011. № 8. С. 3–45. Диалог культур: когнитивная теория и аналитическая история // XI Международные Лихачевские научные чтения 12–13 мая 2011 г. СПб., 2011. Т. 1. С. 362–365. Вспомогательные исторические дисциплины – источниковедение – методология истории в системе гуманитарного знания. Сборник памяти Ольги Михайловны Медушевской. М., 2008; Строгая и точная наука. Беседа с главным редактором журнала «Российская история» // *История. Научно-методический журнал для учителей истории и обществоведения.* 2011. № 16 (Ноябрь). С. 32–35; Дискуссия по вопросам теории когнитивной истории О. М. Медушевской и формированию научной картины мира отражена в серии статей. См.: Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 44. М., 2013; *Гуманитарное знание и вызовы времени.* М., 2014.

⁴ *Медушевская О. М.* Теория исторического познания: Избранные произведения. СПб., 2010. С. 333.

крывающей причины провала традиционной нарративистской историографии в его изучении (одной из ее разновидностей являлась концепция, опиравшаяся на примитивизированный экономический материализм). Пересмотр этих представлений на рубеже XX–XXI вв. составляет стержень динамики современного научного познания⁵.

Суть когнитивной теории – понимание психологической мотивации и установок поведения людей в истории на основе реконструкции информации источников – интеллектуальных продуктов целенаправленной человеческой деятельности. Новизна концепции обеспечивается синтезом достижений классической философии истории, когнитивных наук и информатики, в том числе всего, что связано с теорией искусственного интеллекта, представлениями структурной лингвистики и антропологии⁶. Для исторической науки концепция чрезвычайно важна обоснованием доказательного характера исторического познания, открытием новых методологических подходов к исследованию прошлого и, одновременно, предложенными методиками их анализа⁷. Тезис О. М. Медушевской об истории как строгой и точной науке понятен только в контексте интереса русской и мировой науки XX в. к психологии, антропологии и компаративистике – выявлению сопоставимых индикаторов структурных и функциональных изменений в истории⁸. Обсуждение этих вопросов в марксистской, структуралистской и бихевиористской историографии сделало возможной саму постановку проблемы взаимосвязи информационных процессов, конструирования реальности, формирования социальных установок в прошлом и настоящем.

Определяющее значение приобретает раскрытие структуры информационного обмена: реконструкция информационной картины мира и основанной на ней социальной реальности в истории – стереотипов восприятия действительности; параметров социальной и когнитивной адаптации индивида в условиях исторических изменений, мотивации человеческого поведения⁹. Выясняются факторы, определяющие вариативность поведенческих установок, механизмы реализованного выбора, устанавливается смысл конкурирующих стратегий направленных социальных изменений в истории и современности. С этих позиций становится возможным моделирование исторических процессов, их типология и определение вклада в социальную трансформацию.

Принципиальный недостаток современной интернациональной историографии революции заключается именно в том, что она (при огромном количестве конкретных исследований) по-прежнему вращается в кругу идей и представлений самой революции, выдвигая в качестве

⁵ О формировании теории и методологии когнитивной истории см.: О. М. Медушевская // *Историки России. Иконография*. М., 2015. Кн. 3. М., 2015. С. 264–279. См. также: Ольга Михайловна Медушевская: интеллектуальный портрет // *Медушевская О. М. Пространство и время в науках о человеке*. М., СПб., 2013. С. 7–48.

⁶ Чернобаев А. А. Преемственность и новаторство русской историографической традиции XX – начала XXI в. (Размышления о книге О. М. Медушевской «Пространство и время в науках о человеке» // *Клио. Журнал для ученых*. 2014. № 5 (89). С. 145–147.

⁷ Переломное значение теории О. М. Медушевской в современной историографии отражено в ходе обсуждения ее идей: *Миронов Б. Н.* Новая апология истории (размышления над книгой О. М. Медушевской) // *Общественные науки и современность*. 2011. № 1. С. 139–148; *Казаков Р. Б., Румянцева М. Ф.* О. М. Медушевская и формирование российской школы теоретического источниковедения // *Российская история*. 2009. № 1. С. 141–150; *Шелохаев В. В.* Теория и методология когнитивной истории О. М. Медушевской // *Вопросы истории*. 2010. № 12. С. 163–164; *Плискевич Н.* «В историческом процессе всего интереснее человек...» О. М. Медушевская. Пространство и время в науках о человеке // *Знамя*. 2014. № 9; *Манцильский М. А.* Пространство и время в науках о человеке (о книге О. М. Медушевской) // *Вестник Российской академии наук*. 2014. Т. 84. № 12. С. 1140–1141; *Ионов И. Н.* Проект «когнитивной истории»: археология и экология идей (Размышления над очередной публикацией работ О. Медушевской) // *Общественные науки и современность*. 2015. № 2. С. 84–95 и др.

⁸ *Сабенишкова И. В.* Теория когнитивной истории О. М. Медушевской: точное гуманитарное знание и профессиональный выбор научного сообщества // *Вестник РУДН. Серия История России*. 2015. № 2. С. 17–27.

⁹ *Медушевский А. Н.* Когнитивно-информационная теория как новая философская парадигма гуманитарного познания // *Вопросы философии*. 2009. № 10. С. 70–92; *Он же.* Когнитивно-информационная теория в современном гуманитарном познании // *Российская история*. 2009. № 4. С. 3–22; *Он же.* Когнитивная теория права и юридическое конструирование реальности // *Сравнительное конституционное обозрение*. 2011. № 5 (84). С. 30–42; *Он же.* Российская социологическая мысль: ключевые концепции в свете когнитивной теории // *Мир России*. 2015. № 3 (т. 34). С. 108–132.

обоснования своих положений одну из идеологических конструкций революционного мифа или их комбинации. Последовательная смена основных трендов в мировой историографии в виде перехода от классического направления критики революции (воспроизводящего в основном представления русской либеральной эмиграции) к ее так называемой социальной истории (неточно определяемой как «ревизионизм»), постулировавшей неизбежность революции, и от нее к современным постмодернистским подходам – прекрасно иллюстрирует эту ситуацию. С крушением СССР и мирового коммунизма выяснилась неадекватность этих схем и был остро поставлен вопрос о необходимости пересмотра концепции русской революции¹⁰. Его частью стало появление воспоминаний крупных представителей исторической науки старшего поколения или трудов о них, раскрывающих формирование их взглядов и мотивированные оценки предложенных концепций¹¹. Однако этот пересмотр, осуществляемый в настоящее время преимущественно в рамках так называемой «новой культурной истории», до сих пор не дал убедительных и обнадеживающих результатов. Приверженность сторонников данного направления философии постмодернизма определила методологический релятивизм, «плюрализм» подходов, камуфлирующий отсутствие метода, подмену доказательных выводов различными мнениями исследователей (поиск «смыслов» вместо доказательного установления смысла в единственном числе), господство описательности – такая дешифровка текстов (в виде игры дискурсов) и их семантическая интерпретация, при которой один нарратив (источника) легко подменяется другим нарративом (самого исследователя). В результате «открытие архивов» революции в 1990-е годы, о котором страстно мечтали представители предшествующих этапов развития историографии, не привело к сколько-нибудь существенному продвижению в концептуальном отношении. В новейшей историографии революции констатируется общее недоверие к теории, стремление уклониться от решения общих вопросов, эмпиризм (иногда в виде фетишизации архивов), подмена аналитических выводов описанием, наконец, утрата достижений предшествующих научных школ. Вся эта историография, по меткому наблюдению ее новейшего систематизатора, «окутана облаком интеллектуальной инерции»¹².

В современной российской историографии не предложено ни одной концепции революции, которая бы выходила за рамки ее объяснения современниками событий¹³. Объяснение этой историографической ситуации заключается в господстве устаревших методологических подходов, которые схематически могут быть сведены к трем основным: детерминистской концепции исторического материализма (в сущности – разновидности позитивизма); консервативным цивилизационным и геополитическим теориям, постулирующим неизменность и безальтернативность исторического развития цивилизаций (и отдельных стран) в прошлом и настоящем (вплоть до неизменного «генетического кода» разных цивилизаций); постмодернистским учениям, отрицающим или релятивизирующим значение рационального научного познания и представляющим исторические конструкции как продукт искусства – субъективного видения истории, которое может произвольно заменяться другим по мере необходимости. Различные теории «конца истории», «войн цивилизаций», «волн демократизации», связанные с ними предрассудки о существовании некоей цивилизационной «исторической матрицы»,

¹⁰ Beyond Soviet Studies. Washington, 1995; Soviet and Post-Soviet Russia in a World in Change. Lanham, 1994; Constructing Russian Culture in the Age of Revolution, 1881-1940. N.Y.; Oxford, 1998; Reinterpreting Russia. L., 1999; The Russian Revolution: The Essential Reading. L.; Toronto, 2001; Imperial and National Identities in Prerevolutionary Russian, Soviet, and Post-Soviet Russia. Helsinki, 2002; Late Imperial Russia: Problems and Prospects. N.Y., 2005; Russia in the European Context 1789–1914: A Member of the Family. N.Y., 2005; Reinterpreting Revolutionary Russia. Palgrave, 2006.

¹¹ *Beloff M.* An Historian in the Twentieth Century: Chapters in Intellectual Autobiography. New Haven, 1992; Ideas, Intellectuals, and Ideology in Russian History: Los Angeles, 1993; Dukes P. Fifty Years of Russian History // *Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления.* М., 2010.

¹² *Smith S.* Writing the History of the Russian Revolution after the Fall of Communism // *The Russian Revolution; The Essential Readings.* L.; Toronto, 2001. P. 265.

¹³ Аналитическая история // *Отечественная история.* 2008. № 5. С. 3–18.

«колеи», «русской системы» и т. п. – только укрепляют эти представления, не выходя за рамки «социально-психологического детерминизма» и линейной версии исторического процесса¹⁴.

Методологический порог этих теорий состоит в психологическом детерминизме (сменившем экономический детерминизм). Фактически речь идет о том, что преемственность исторической традиции определяется не сохранением институтов, а воспроизводством определенных психологических стереотипов в виде так называемой «исторической памяти». Но с позиций современной когнитивной психологии память – вообще очень неопределенная и изменчивая категория. Если это справедливо в отношении индивидуальной памяти, то тем более – в отношении коллективной или «исторической» (некоторые ученые не без основания сомневаются в самой правомерности понятия «коллективной памяти»). Формы фиксации информации в памяти чрезвычайно различны (выделяют, например, семантическую память, эпизодическую, лексическую и т. д.). Основная функция исторической памяти – символическая. Она вытесняет функцию полноценного информационного ресурса и подменяет смысл исторических процессов искаженными (мифологизированными) представлениями о них. Столь же спорна отсылка к так называемому «историческому опыту» «народов» и его влиянию на принимаемые решения. Опыт вообще, а тем более «коллективный» и «исторический», по большому счету, противостоит знанию. Критика исторического опыта, если она не выходит за рамки его описания, в сущности, повторяет этот путь. Мы по нашему опыту можем заключить, что Солнце вращается вокруг Земли. Но наука утверждает обратное – Земля вращается вокруг Солнца. Если это наблюдение справедливо в физике и астрономии, то почему оно несправедливо в истории, в частности – изучении правовой и политической традиции? Настойчивое воспроизводство положений доктрины психологического детерминизма связано с известным законом экономии мышления: гораздо легче взять готовые схемы из прошлого (или более рафинированных культур) для объяснения российского общества современного периода, нежели попытаться найти новые понятия для того, чтобы определить специфику современных процессов. Это очень облегчает «объяснение», но мало продвигает нас в познании смысла явлений.

Очевидно, что эти подходы идут вразрез с задачами современной глобальной истории, отстаивающей отказ от методологического детерминизма в пользу вариативной картины прошлого, пересмотр линейной версии исторического процесса (характерной для традиционных эволюционистских концепций); отказ от объяснения одной культуры понятиями, механически взятыми из другой (что было свойственно для европоцентризма) и настаивающей на разработке универсальных и ценностно нейтральных понятий, открывающих перспективу доказательного сравнительного анализа исторического процесса разных стран. В результате в современной российской историографии мы имеем постоянный «конфликт интерпретаций»: доказательное знание подменяется идеологическими схемами интерпретаций, сторонники различных позиций не могут прийти к единым непротиворечивым выводам, научная традиция (если понимать ее как преемственность школ) – отсутствует, а ключевые концептуальные выводы просто заимствуются из прошлого или иностранной литературы (опирающейся в значительной степени на опыт национальных революций). Заявляя о необходимости вернуться к «объективной» истории революции для преодоления идеологических крайностей и раскрытия ее «подлинной» природы, причин и следствий, эта историография не предлагает новой методологии, во многих отношениях остается в плену старых советских стереотипов, воспроизводя их с помощью иного понятийного инструментария¹⁵. В этом нет ничего удивительного, поскольку «переосмысление» русской революции в постсоветский период было начато и осуществлялось преимущественно рыцарями холодной войны, стремившимися доказать правиль-

¹⁴ Медушевский А. Н. К критике консервативной политической романтики в постсоветской России // Российская история. 2012. № 1. С. 3–16.

¹⁵ Россия на рубеже XXI в.: Оглядываясь на век минувший. М., 2000.

ность своих предшествующих взглядов и в новых условиях поддержать их легитимность в научном сообществе¹⁶. Реставрационный тренд в историографии отражен адептами этих идей в ходе последних дискуссий по истории революции¹⁷. Утратив привычное равновесие в силу вынужденного отказа от марксизма, представители традиционной советской историографии охотно говорят о «кризисе исторической науки», не давая себе труда разрабатывать вопросы методологии гуманитарного познания на уровне понимания смысла и с нескрываемым раздражением встречая все попытки такого рода¹⁸. Следствием является принципиальный историографический факт: по прошествии столетия мы не имеем полноценных российских трудов по политической и конституционной истории русской революции¹⁹. Где современные российские Ф. Гизо, А. Токвиль, А. Олар, или ревизионистская школа Ф. Фюре, давшие доказательную конституционную историю Французской революции? Исправить эту ситуацию – задача данного исследования.

Когнитивный метод создает новую перспективу в изучении революции. Политическая история революции предстает как направленная деятельность по конструированию новой социальной реальности: определение ее форм; фиксация их смены в основных политико-правовых документах, принятие которых неизбежно отражает значимые изменения информационной картины общества. Анализ их разработки, принятия и функционирования позволяет, следовательно, реконструировать когнитивную логику революционного процесса. Данный подход позволяет связать воедино ряд основных компонентов социального конструирования реальности – идеологические установки партий, выражающие их правовые ценности, принципы и нормы, созданные на их основе политические институты, каналы коммуникации (информационный обмен, как непосредственный, так и опосредованный), установить соотношение имитационной информационной деятельности (выдвижение декларативных лозунгов) и реальной (недекларируемых, но подразумеваемых целей), раскодировать подлинный смысл установленных правил и норм, раскрыть процессы формальной и неформальной институционализации, инструменты установления и поддержания когнитивного доминирования элиты в обществе.

Предметом данного исследования является содержание, структура и динамика конституционных принципов, факторы их содержательной трансформации и вклада в формирование общественных отношений. Каждый из них характеризуется информационным единством трех параметров – ценностей, норм и их толкования, выступает единицей направленного конституционно-правового регулирования и одновременно индикатором его осуществления. Проблема усматривается именно там, где предшествующая литература видела ее решение – в механизмах конструирования соответствующих принципов (под влиянием политических, юридических, социально-психологических факторов). Суть подхода – в выяснении смысла конституционных решений: каковы их когнитивные детерминанты; какие модели стали предметом анализа раз-

¹⁶ Россия 1917 год: выбор исторического пути (Круглый стол историков Октября 22–23 октября 1988 г.) / Отв. ред. член-корр. АН СССР П. В. Волобуев. М., 1989.

¹⁷ Февральская революция 1917 года в российской истории: Круглый стол // Отечественная история. 2007. № 5; Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания: Круглый стол // Отечественная история, 2008. № 6.

¹⁸ Отражение этой ситуации зафиксировано в обобщающих исследованиях: Научное сообщество историков России: 20 лет перемен. М., 2011; Исторические исследования в России. Пятнадцать лет спустя. М., 2011. См. также: Медушевский А. Н. Научное сообщество и его критики: старые обиды, новые разочарования и незавершенный поиск идентичности // Российская история. 2012. № 4. С. 203–208.

¹⁹ Никакому здравомыслящему человеку не придет в голову изучать историю русской революции, например, по трудам академика Минца или его «школы», равно как представленному ныне ИРИ РАН «Историко-культурному стандарту». До настоящего времени наиболее востребованными и цитируемыми работами о революции у нас остаются труды иностранных авторов: Карр Э. История Советской России. Большевицкая революция. 1917–1923. М., 1990. Т. 1–2; Верт Н. История Советского государства. М., 1998; Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917–1991. М., 1995 и др. См.: Медушевский А. Н. Революция и реформа в концепции русского исторического процесса нового и новейшего времени // Историческое знание как фактор развития. М., 2014.

работчиков; что было принято и отвергнуто; какая модель в итоге была положена в основу и почему; как соответствующие конституционные принципы трансформировались под воздействием практики применения²⁰. Это исследование призвано дать ответ на классические вопросы историографии революций: причины крушения российского старого порядка, соотношение мессианской утопии и реальности; факторы, определившие выбор модели общественного развития, эволюция легитимирующей формулы революционного режима; соотношение демократии и авторитаризма на разных стадиях, преемственность и разрыв дореволюционного, советского и постсоветского правового и институционального развития, вариативность стратегий переходного периода и перспектив его завершения.

Следует подчеркнуть, что этот классический ряд вопросов, находящийся в центре внимания исследователей при изучении европейских революций XVIII–XIX вв., оказался очень слабо разработан применительно к русской революции²¹. Этот вывод относится к сравнительным исследованиям революций Нового и Новейшего времени, акцентирующим внимание на выявление структуры социального конфликта, формы массовой мобилизации, его институциональное выражение и социальную природу революционного протеста и роль насилия с позиций теории модернизации²². В интернациональной литературе о русской революции конституционная проблематика занимает в целом сравнительно небольшое место²³. Как правило, обращение к ней носит вспомогательный характер, иллюстрируя внешние параметры эволюции идеологии и динамики политического процесса. Еще меньше число специальных исследований, посвященных разработке и принятию важнейших конституционных актов, внутриэлитным спорам, которые их сопровождали, и альтернативным стратегиям обсуждения и принятия документов²⁴. Остался не решен вопрос о том, мог ли абсолютизм трансформироваться в конституционную монархию и правовое государство без распада государства и революционных конвульсий начала XX в. или страна была обречена на этот срыв²⁵. Этот спор практически с тем же набором позиций «оптимистов» и «пессимистов» представлен и в отношении современной постсоветской трансформации России²⁶. Они относятся в основном к началу и концу существования СССР, когда конституционная дискуссия имела вполне определенный политический эффект. Эта ситуация объяснима психологически – связана с понятным отрицанием за советскими конституциями значения подлинных правовых документов, которые просто камуфлировали антиправовую ситуацию коммунистической диктатуры. Советская историография этой проблематики, как историческая, так и правовая (очень значительная в количественном отношении), также не может быть признана полноценным ориентиром в разработке этих вопросов, хотя и по принципиально иной причине. При общей табуизации реальной конституционной дискуссии она выполняла в основном идеологические (легитимирующие) функции, или чисто технические (создания правового инструментария для выражения политических установок власти). В целом значение этой литературы и вклада юристов в полноценное обсуждение

²⁰ Данный подход представлен в литературе о крупнейших конституциях ряда стран: *Constitution Makers on Constitution Making. The Experience of Eight Nations*. Washington, 1988. *L'écriture de la Constitution de 1958*. Paris, 1992; *Sartori G. Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry Into Structures, Incentives and Outcomes*. L., 1994; *Designs for Democratic Stability. Studies in Viable Constitutionalism*. N.Y., 1997.

²¹ *Blackey R.* (Ed.). *Revolutionists. A Comprehensive Guide to the Literature*. Oxford, 1982. О русских революциях: С. 158–178.

²² *Brinton C.* *The Anatomy of Revolution*. N.Y., 1952; *Moore B.* *Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of Modern World*. Boston, 1967; *Scocpol T.* *States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China*. Cambridge, 1980; *Tilly Ch.* *European Revolutions. 1492–1992*. Oxford; Cambridge, 1993.

²³ *The Russian Provisional Government. 1917. Documents. Selected and edited by R.P. Browder and A.F. Kerensky*. Stanford Univ Press. Stanford, California, 1961. Vol. I–III; *The Russian Revolution and the Soviet State. 1917–1921. Documents. Selected and Edited by Mc Cauley*. L., 1975; *The Rise and Fall of Soviet Union. A Selected Bibliography of Sources in English*. L., 1992.

²⁴ *Butler W.* *Russian Law*. London; Oxford, 2009.

²⁵ *Late Imperial Russia: Problems and Prospects*. N.Y., 2005.

²⁶ *Power and Legitimacy – Challengers from Russia*. L.; N.Y., 2012.

конституционализма нивелировалось отрицанием самостоятельного значения права как «формально-юридического» явления, которое может иметь значение только при условии его классовой и партийной интерпретации. Именно с этих позиций советская школа в лице ее наиболее видных представителей 1920-х годов оказала влияние на мировую и европейскую (прежде всего германскую) правовую мысль, вписываясь в авторитарный тренд критики теории естественного права, гражданского общества, парламентаризма и либерализма²⁷. Исключением из правила становились закрытые внутриэлитные дискуссии с участием юристов, где собственно правовые аргументы рассматривались с точки зрения их практических следствий для режима.

Компенсировать эти историографические диспропорции отчасти помогает обращение к трудам русских ученых-эмигрантов, давших прекрасные образцы юридического анализа советского режима во взаимодействии с анализом его реального функционирования²⁸. Эта группа исследователей, работавших в разных странах мира, опиралась на классические традиции русской дореволюционной юридической школы (создавшей правовые факультеты основных университетов империи), разделяла ценности западной демократии и прав человека, отличалась чрезвычайно высоким уровнем гуманитарной культуры и образования (что позволяло аккумулировать достижения мировой правовой мысли и создать ряд новых школ в иностранных университетах), активно участвовала в политической деятельности периода революций начала XX в. и Гражданской войны, разработав ряд выдающихся проектов конституции и политического устройства страны после предполагаемого свержения большевизма. Однако научная и общественно-политическая активность этой части русской эмиграции приходится в основном на 1920–1930-е годы, а последующий отрыв от советских реалий сделал ее менее восприимчивой к анализу последующих советских конституционно-правовых экспериментов²⁹. В эпоху холодной войны на первое место выдвигались проблемы идеологического противостояния систем, и вопросы юридического анализа теряли актуальность. Таким образом, по совершенно разным причинам был достигнут один общий результат: образовалась зияющая лакуна в изучении той конституционной проблематики русской революции, которая составляет стержень политической истории всех крупных революций и вообще социальных преобразований. Правы, поэтому, те современные исследователи, которые утверждают, что политическая история русской революции в сущности еще не написана³⁰. Предстоит большая работа по разработке методологии и понятийного аппарата данных исследований (учитывая специфику советского права); выявлению и систематизации документального материала, реконструкции основных форм и этапов советского политико-правового регулирования, выяснению его подлинного места в русской правовой традиции.

С позиций когнитивного метода возможна новая интерпретация ключевых понятий. Под *революцией* будем понимать радикальное изменение информационной картины мира – преодоление когнитивного диссонанса общества путем насильственного изменения государственного строя, сопровождающееся фундаментальным пересмотром принципов его политической конституции и легитимирующей формулы режима. В основе революционного процесса лежит когнитивный диссонанс – разрыв между действующим позитивным правом Старого порядка и представлениями общества (или значительной его части) о социальной справедливости (составляющими содержание мессианской революционной идеи). Революция, следовательно, начинается с отказа от старых конституционных принципов во имя утопической теории справедливости, ведет к насильственному разрушению старой системы правовых норм и институтов, сопровождается активным поиском новых форм общественной организации, а ее

²⁷ Juristen. Ein Biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, 1995.

²⁸ Алексеев Н. Н. Право советской России. Сб. ст. Вып. 1–2. Прага, 1925; Timashev N.S. Grundzüge der Sowjetverfassung. Heidelberg, 1925; Тимашев Н. С. Политическое и административное устройство СССР. Париж, 1931.

²⁹ Зарубежная Россия, 1917–1939. СПб., 2000.

³⁰ Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford, Univ. Press, 2008.

завершением становится закрепление этих ценностей, принципов и норм в новой политической конституции, становящейся идеологическим воплощением мессианской идеи (революционного мифа). Корректировка этой идеи под воздействием меняющейся социальной действительности не означает отказа от самого основополагающего мифа. Революция продолжается до тех пор, пока этот миф не отбрасывается или заменяется другим, закладывающим основу нового политического и правового порядка. Под *контрреволюцией*, исходя из этого, следует понимать программу столь же решительного отказа от революционного мифа и основанной на нем политической системы путем восстановления правовой системы и институтов Старого порядка. Успех контрреволюции означает завершение революционного эксперимента фазой *реставрации* – символического восстановления Старого порядка с его легитимирующей формулой, но неизбежной частичной корректировкой правовой системы для преодоления когнитивного диссонанса, послужившего стимулом революционного переворота. Под *реформой* следует понимать принятие новых информационных ориентиров в результате ненасильственного изменения государственного строя – его корректировку без радикального пересмотра политической конституции и легитимирующей формулы. Социальный конфликт (психологическую травму растущего когнитивного диссонанса) удастся преодолеть путем модификации идеологических постулатов, действующей политической конституции или частичной модификации легитимирующей формулы. *Контрреформа* – корректировка программы реформ в силу утраты ею информационной адекватности в представлении правящей элиты.

При таком подходе снимается традиционное противопоставление таких явлений как революция и реформа, с одной стороны, и реформа и контрреформа – с другой: они различаются методами осуществления преобразований, их направленностью или результатами, но не фазами когнитивно-информационной деятельности. *Программа преобразований* – совокупность общих когнитивных установок социальных реформаторов, связанных с ценностями, целями и представлениями о способах их достижения; *доминирующий проект* – окончательный документ, фиксирующий смысл, цели и порядок проведения преобразований, положенный в основу их практического осуществления; *стратегия преобразований* – совокупность когнитивных установок, которыми реформаторы руководствуются для достижения поставленных целей; *технологии преобразований* – совокупность формальных и неформальных правовых и институциональных практик, используемых для когнитивной адаптации общества к реформам на конкретном временном отрезке осуществления; *стиль преобразований* – особенности их общего когнитивного дизайна, выражающие повторяющееся сочетание их универсальных параметров и национальной специфики. *Понятие успеха (или эффективности) преобразований* в рамках когнитивного подхода имеет свои ограничения и состоит в ответе на вопрос – удалось ли реформаторам реализовать свой первоначальный замысел (доминирующий проект)³¹.

Все три ключевых понятия данного исследования – революция, контрреволюция и реформа – с когнитивной позиции представляют собой различные типы саморегуляции общественного сознания, границы между которыми условны, поскольку сходные социальные цели могут быть достигнуты различными методами – радикальное социальное переустройство возможно как в более, так и в менее затратных формах, с разной степенью деструкции правовой системы и масштабами применения насилия. В идеале радикальные изменения могут осуществляться путем реформ, способных реализовать содержание революционного проекта, не обращаясь к его деструктивным методам. Однако на практике осуществление данного вектора затруднено консерватизмом, примитивизмом и негибкостью массового сознания: оно должно пройти негативный революционный опыт для того, чтобы конвертировать этот опыт в знание – отказаться от его применения в будущем.

³¹ Обоснование этого понятийного ряда см.: Медушевский А. Н. Российские реформы с позиций теории когнитивной истории: система понятий, типология, технологии осуществления // Вопросы экономики. 2016. № 3. С. 131–160.

Предлагаемая нами *типология революций* основывается на критерии соответствия их доминирующего проекта задачам когнитивно-информационного регулирования в обществе. Определяющее значение имеет соответствие их стиля мировому мейнстриму и соответствие доминирующего проекта задачам поддержания когнитивного контроля элиты в обществе. *Мейнстрим* в данном контексте – это общая картина мира определенной эпохи (или претендующая стать таковой): совокупность идей и выражающих их институциональных моделей известного исторического периода, т. е. устойчивых представлений об организации общества будущего, лежащих в основе когнитивного доминирования элиты преобразований, независимо от того, насколько они осуществимы в текущей перспективе. Речь идет о некоторой теоретической конструкции картины мира (утопической или научной), позволяющей связать прошлое, настоящее и будущее человечества, выстроить соотношение универсальных и национальных форм, объяснить накопленный опыт и установки целенаправленных изменений относительно универсально значимой цели. То, что на деле данная теоретическая конструкция является субъективной, может оказаться иррациональной и нереализуемой на практике, не отменяет того факта, что она служит общим ориентиром для инициаторов социальных преобразований разных стран мира.

Революции подразделяются, во-первых, по масштабам информационного конструирования реальности – создают ли они новую картину мира (мессианская идея для всего человечества или отсутствие таковой), выстраивают новую национальную идентичность или ограничиваются пересмотром системы в рамках существующей (традиционное деление на «великие» и «обычные» революции, граничащие с «регулярными» преобразованиями); во-вторых, по степени соответствия мировому мейнстриму – могут противостоять ему, осуществляться в его рамках или отклоняться от него при общем сходстве тенденций; в-третьих, по характеру информационного обмена с внешней средой – предполагается учет разработчиками проектов иностранного происхождения («европеизация») или, напротив, отказ от него (идея «самобытности» и «особого пути» в различных исторических модификациях); в-четвертых, по степени когнитивно-информационного контроля революционной элиты над обществом – носит он тотальный или ограниченный характер (т. е. допускает существование альтернативных источников информации); в-пятых, по степени завершенности когнитивной адаптации общества к революционным изменениям – прошли они полный цикл смены фаз когнитивной адаптации общества и доминирования соответствующих групп элиты или были оборваны в результате внешнего вмешательства; в-шестых, по характеру смены психологических установок – спонтанному или направляемому извне, методам фиксации данной смены – в какой степени она отражена в идеологических программах, правовых документах и устойчивых практиках поведения; наконец, в-седьмых, по степени успешности социальных преобразований (удалось им реализовать цели доминирующего проекта или они потерпели поражение в этом)³².

В рамках данного подхода русская *революционная модель социальных преобразований*, безусловно, противостоит логике предшествующих и последующих реформационных инициатив: доминирующий революционный проект создавал новую картину мира – выдвинул мессианскую идею и преследовал утопические цели (водворение коммунизма во всемирном масштабе); противостоял мировому мейнстриму (отрицая современные формы демократии, рыночной экономики и правового государства), а потому (при всей радикальности осуществляемых социальных преобразований) неизбежно вел к ретрадиционализации (восстановлению архаичных социальных и политических порядков); его реализация привела к максимальному подавлению информационного обмена с внешней средой и установлению информационного контроля над обществом, изолировав его от альтернативных источников информации; про-

³² Эти позиции обобщены в сводных энциклопедических изданиях: Российская цивилизация. М., 2001; Общественная мысль России XVIII – начала XX века. М., 2005; Общественная мысль русского зарубежья. М., 2009.

шла полный цикл смены фаз когнитивного доминирования революционной элиты – от его установления (с насильственным уничтожением всех оппозиционных партий – альтернативных центров информационного доминирования) до полной деградации и крушения; оказалась способной повернуть спонтанное развитие революционного процесса в русло его направленного государственного регулирования; дала исключительно четкую фиксацию всех его этапов в политических конституциях и программных модификациях легитимирующей формулы; но закончилась провалом: цели базового революционного проекта (создание бесклассового общества) не получили реализации³³.

Это позволяет решить *вопрос о границах и периодизации истории революции*. В мировой литературе отсутствует единый подход к проблеме: одни исследователи продолжают оперировать марксистской схемой периодизации революционного процесса в соответствии с подразумеваемым изменением баланса классовых сил, другие оперируют этапами политической истории, третьи усматривают решение проблемы периодизации в изменении сознания общества. В результате одни исследователи понимают русскую революцию XX в. как единый процесс социальной трансформации, проходящий в несколько стадий, другие предпочитают говорить о революциях во множественном числе – выделяют три революции начала XX в. (1905 г., Февральскую и Октябрьскую революции 1917 г.) или увеличивают их число до пяти (добавляя сталинскую революцию 1930-х годов и перестройку 1985–1990 гг.). Нет поэтому единства в определении конца революции: для одних это – время окончания Гражданской войны и консолидации большевистского режима или его трансформация (с созданием СССР и переходом к новой экономической политике в 1920-е годы), для других – консолидация сталинского режима. Третьи вообще считают, что революция заканчивается тогда, когда ее идеология трансформируется в миф или когда умирают последние носители этой идеологии – активные ее участники.

В рамках отстаиваемого нами когнитивного подхода вопрос о периодизации русской революции решается с позиций реконструкции революционной традиции на всем протяжении ее существования – от утверждения системообразующего революционного мифа в качестве легитимирующей основы режима до отказа от него. С этих позиций русская революция вполне вписывается в концепцию «долгого XX века», а ее этапы, фиксируемые в политических конституциях, отражают стадии формирования современного российского общества и его политической системы. Этот подход представлен в историографии крупнейших национальных революций – Английской и Американской, заложивших основы современной демократии западного типа. Последующее развитие этих стран, несмотря на кризисы и войны, опиралось на устойчивые элементы преемственности этой политико-правовой традиции, наполняя ее новым социальным содержанием³⁴. Обращаясь к истории Французской революции, исследователи раскрывают единство революционной традиции, выраженное в преемственности революционного мифа и его идеологического обоснования на разных стадиях эволюции государственности. Так, начавшись в 1789 г., Французская революция с ее ключевыми принципами свободы, народного суверенитета и разделения властей, по мнению ряда исследователей правовой традиции, в сущности, не прекращалась до создания современной Пятой республики (1958)³⁵. В целом Французская революция изначально вращалась вокруг идей конституционализма, различные интерпретации источников и содержания принципов которого составляли основу мобилизации сторонников основных политических партий³⁶. Мексиканская рево-

³³ Революционная мысль в России XIX – начала XX века. М., 2013.

³⁴ The Revolution, the Constitution, and the America's Third Century. Philadelphia, 1976. Vol. 1–2; Wood G. The Creation of the American Republic 1776–1787. North Carolina. 1998.

³⁵ Chevallier J. J. Histoire des institutions et des régimes politiques de la France (de 1789 a nos jours). Paris, 1986.

³⁶ Constitution // Dictionnaire Critique de la Révolution Française. Institutions et Créations. P., 1992; P. 98–99; Doyle W. Origins

люция, как считают ее новейшие исследователи, начавшись с конституционного переворота 1910 г., закончилась лишь в конце XX в.³⁷. Китайская революция, начавшись с крушения монархии в 1911 г. и пройдя ряд этапов, сходных с русской (и под ее непосредственным влиянием), по-видимому, не закончилась до настоящего времени в силу сохранения коммунистической идеологии как легитимирующей основы однопартийного режима³⁸. Иранская революция 1979 г., продемонстрировав, несмотря на свой исламский характер, ряд поразительных черт сходства одновременно с французской и русской, позволила сформулировать аналогичные вопросы о природе революционного режима, причинах его устойчивости и направлениях трансформации в будущем³⁹.

Сформулировав исходные постулаты идеологического символа веры и зафиксировав их в ходе Учредительных собраний и в Основных законах, революции затем длительное время корректировали их во имя согласования с меняющейся социальной реальностью. Это позволяет, в частности, объяснить сходство структуры революционных циклов в разных странах, на каждой фазе развития которых происходит заимствование идеологических постулатов и институтов соответствующих предшествующих революционных моделей. Социология революции как самостоятельное научное направление позволяет выяснить, до какой степени повторяемость воспроизводства институтов, символов, риторики и способов революционной мобилизации разных стран соответствует национальным задачам и выражает особенности их политической культуры⁴⁰. Революционная трансформация общества есть, следовательно, длительный процесс: революция (несмотря на изменения политического режима) продолжается столько, сколько действует революционная формула, ее развитие связано с модификацией этой формулы и ее последовательной десакрализацией, а конец определяется достижением полноценного национального единства с принятием конституции, обеспечивающей национальный консенсус и институциональную стабильность, когда новая система ценностей и ожиданий, провозглашенных революцией, конвертируется в стабильные демократические нормы, институты и правила игры. В основу периодизации русского революционного процесса следует положить, следовательно, развитие самого революционного мифа на всем протяжении существования (1917–1991), точнее, основанные на нем модификации легитимирующей формулы революционного режима, отраженные в его основополагающих конституционных актах.

С позиций когнитивного подхода проблема так называемой «исторической дистанции» (степени удаленности историка от времени изучаемых событий) не имеет значения (поскольку доказательность прямо не коррелируется с удаленностью наблюдателя во времени). Однако столетний рубеж крупного исторического события, каким является революция, дает исследователю ряд преимуществ. Во-первых, вызванные им следствия предстают в завершенном виде; во-вторых, не действуют (или действуют опосредованно) те эмоциональные представления, которые владели умами современников и ближайших потомков; в-третьих, в результате исследований становится ясна фактическая картина явлений и процессов (особенно с введением в научный оборот документов всех политических партий и общественных движений); в-четвертых, событие приобретает взвешенный и заверченный характер восприятия в обществе, несмотря на то что в нем может не существовать единства оценочных суждений о нем; наконец, в-пятых, идеологическое и «мемуарное» воспроизводство событий, связанное с тотальным господством революционной «мессианской идеи», уступает место их беспристраст-

of the French Revolution. N.Y., 1980.

³⁷ Knight A. The Mexican Revolution. Cambridge, 1987, Vol. 1–2; Krauze E. Biografía del poder. Caudillos de la revolución Mexicana (1910–1940). Mexico, 2006.

³⁸ Bianco L. Les origines de la révolution Chinoise, 1915–1949. Paris, 1967; Fairbank J. K., Goldman M. China. A New History. Cambridge; L., 2006.

³⁹ Khosrokhavar F. L'Utopie Sacrifiée. Sociologie de la révolution iranienne. Paris, 1993.

⁴⁰ Kimmel M. S. Revolution. A Sociological Interpretation. L., 1990.

ному аналитическому изучению. Это наблюдение справедливо в отношении всех так называемых «великих революций», академические исследования которых появляются примерно через полстолетия после их осуществления. Но оно особенно верно в отношении русской революции, академическое изучение которой внутри страны было невозможно на протяжении всего времени существования советского строя (поскольку революционный миф в его официальной идеологической трактовке составлял основу легитимности политического строя), а после его крушения в 1991 г. затруднялось эмоциональной обстановкой постсоветского переходного периода.

Общей предпосылкой академического исследования русской революции стал конец идеологического типа мышления, четко осознанный уже в 60-е годы XX в. Если мы понимаем идеологию как тоталитарную систему идей, всеохватывающую теорию ценностей – этический абсолют, тотально направляющий социальное поведение, который претендует на объяснение мироздания, ведет к манихейскому расколу общества и продуцирует мощный классовый конфликт, легитимирует массовую социальную мобилизацию и неограниченную власть, – то таких идеологий больше не существует. Идеология как «ложное сознание» – пассионарная связь революционных и контрреволюционных представлений с мобилизационной практикой – действительно переживает упадок⁴¹. Это выражается в крушении марксизма, расколе левого движения, преодолении разрыва массового движения и авангарда и проч. Не означает ли принятие данного тезиса вывод о конце политики (возможна ли политика вне идеологии)? Суть проблемы в том, что узкое понимание идеологии, которое господствовало в XX в., было отвергнуто с крушением коммунизма и едва ли может быть воспроизведено вновь. В этом традиционном понимании классические идеологии действительно закончили существование (исключение составляет национализм). Речь должна идти, таким образом, во-первых, о конце традиционных мобилизационных идеологий, который не исключает появления новых идеологий (как, например, глобализм и антиглобализм); во-вторых, об изменении инструментов распространения идеологических представлений (новые информационные технологии), в-третьих, появлении возможности быстрой верификации тех или иных положений (не просто вера, но поиск достоверных знаний). Если традиционные идеологии XIX–XX вв. продуцировались из единого центра, опирались на интеллектуалов и транслировались в массовое сознание, то их современные модификации опираются на новый тип коммуникаций, обеспечивающий диалог интеллектуалов и аудитории в режиме «онлайн». «Расколдовывание мира» по мере его рационализации ведет к изменению смысла и техники идеологического конструирования, но не отменяет его значения. Конец традиционных идеологий не означает конец утопий – этических проектов социальной справедливости и права, политики. Напротив, в этой реальности (конца идеологий) значение интеллектуалов возрастает. Всякий *status quo* есть источник инерции и догматизма, социальная функция интеллектуалов – подвергать их критике, пусть даже во имя утопических идеалов: выполняя эту функцию, интеллектуал помогает поддерживать конфликт, который является неотъемлемым источником жизненной силы демократической системы. С этих позиций переосмысление русской революции и ее идеологии сохраняет значение для когнитивного конструирования современной социальной реальности.

В предшествующих исследованиях автора раскрыто содержание различных типов правового регулирования с позиций социологии права, сравнительного конституционного права и динамики конституционных циклов; показана роль и место советского номинального конституционализма в сравнительно-исторической перспективе авторитарных режимов; особенности переходной модели постсоветского конституционализма и трудности его современного развития⁴². Эта работа велась параллельно с реконструкцией социальных параметров правового

⁴¹ Липсет С. М. Политический человек. Социальные основания политики. М., 2015.

⁴² Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998;

развития и логики политических процессов⁴³. Синтез этих двух магистральных направлений исследования позволил сформулировать общее представление о российской правовой традиции и ее изменениях в ходе социальных трансформаций XX в.⁴⁴ Эти представления стали основой переосмысления автором в качестве главного редактора академического журнала «Российская история» предпосылок и развития русской революции, советского периода истории⁴⁵. Нескрываемая оппозиция выдвинутым нами идеям со стороны академических традиционалистов неуклонно возрастала по мере постановки вопросов методологии аналитической истории и обсуждения политической истории России XX в. Автор убедился как в консерватизме и практической неререформируемости российской академической бюрократии (что, впрочем, было вполне ожидаемо с самого начала), так и в необходимости новых подходов к объяснению российского исторического процесса с позиций когнитивной методологии, доказательной аналитической истории и сравнительных подходов⁴⁶. Этот ценный практический опыт «включенного наблюдения» прояснил ситуацию в постсоветских идейных спорах, заставив обратить внимание не только на их содержание, но на структуру и эволюцию формальных организаций, продуцирующих историческое знание, а в агрессивной реакции советских традиционалистов увидеть своеобразную форму борьбы за сохранение контроля и доминирования в публичном пространстве. В дальнейшем автор использовал данный опыт в ходе своих выступлений по общественно-политическим вопросам, в частности – проблемам публично-правовой этики, современного конституционного и политического строя России и перспектив его реформирования⁴⁷. В свете этих автобиографических замечаний понятен современный интерес автора к политической и конституционной истории русской революции: существует ли связь революции и создания сталинской модели политической системы; в какой мере она определила когнитивные стереотипы, логику развития и крушения советской системы, особенности ее современного развития?

Для определения специфики советской правовой системы (и ее аналогов) нами было введено понятие номинального конституционализма – системы, где конституционная норма вообще не действует реально, юридические гарантии прав и свобод не могут быть осуществлены, а власть полностью бесконтрольна. В исторической перспективе эта форма конституционализма присуща тоталитарным режимам и отличается как от полноценного реального конституционализма демократических стран, так и от различных форм ограниченного (или мнимого) конституционализма авторитарных режимов. Данный понятийный аппарат был принят мно-

Он же. Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002; *Он же.* Теория конституционных циклов. М., 2005; *Он же.* Размышления о современном российском конституционализме. М., 2007; Конституционные проекты в России XVIII – начала XX века. М., 2010; *Он же.* Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX – начала XX вв. М., 2010; *Он же.* Russian Constitutionalism. Historical and Contemporary Development. L., 2006.

⁴³ Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994; *Он же.* История русской социологии. М., 1993; *Он же.* Проекты аграрных реформ в России. XVIII – начало XXI века. М., 2005; *Он же.* Социология права. М., 2006; *Он же.* Ключевые проблемы российской модернизации. М., 2014.

⁴⁴ Медушевский А. Н. Российская правовая традиция: опора или преграда? М., 2014; *Он же.* Политические сочинения: право и власть в условиях социальных трансформаций. М.; СПб., 2015.

⁴⁵ Медушевский А. Н. Причины крушения демократической республики в России в 1917 году // Отечественная история. 2007. № 5. С. 3–30; *Он же.* Великая реформа и модернизация России // Российская история. 2011. № 1. С. 3–27; *Он же.* Как выйти из революции: стратегия преодоления социального кризиса в обществах переходного типа // Российская история. 2012. № 3. С. 3–18; *Он же.* Сталинизм как модель социального конструирования // Российская история. 2010. № 6. С. 3–29; *Он же.* Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история, 2011. № 6. С. 3–30; *Он же.* Была ли неизбежна русская революция 1917 года? // Обозреватель. 2012.

⁴⁶ Медушевский А. Н. Мои бои за историю. Как я был главным редактором журнала «Российская история» // Вестник Европы. 2012. Т. 33. С. 147–159.

⁴⁷ Медушевский А. Н. Конституция как символ и инструмент консолидации гражданского общества // Общественные науки и современность. 2013. № 3. С. 44–56; *Он же.* Конституционная модернизация России: стратегия, направления, методы // Закон. 2013. № 12. С. 41–52; Medushevskii A. Problems of Modernizing the Constitutional Order: Is it Necessary to Revise Russia's Basic Law // Russian Politics and Law. Vol. 52. N. 2. March-April 2014. P. 44–59.

гими современными исследователями проблемы – юристами, политологами и историками⁴⁸. Его основное преимущество (по сравнению с формально-юридическим подходом) заключается в четком определении принципиально новой проблемной области – перехода от номинального конституционализма к реальному, выяснении срывов на этом пути (конституционных деформаций мнимоконституционного характера) и выявлении тех форм, механизмов и стратегий правового конструирования, которые используются политической властью для создания и поддержания соответствующих институтов. Очевидно значение данного направления исследований для понимания тенденций мирового правового и политического развития, поскольку едва ли не большая часть современных государств оказывается на переходной стадии от авторитаризма к демократии, а их гибридные режимы пребывают в «серой зоне», пытаясь сочетать элементы реального и мнимого конституционализма.

Вполне оправдан вопрос о том, в какой мере революционный (советский) конституционализм отражал социальную действительность и может стать отправной точкой в ее изучении. Когнитивный метод акцентирует соотношение информационной картины мира, правовых норм, создаваемых ими коммуникаций (информационный обмен) и форм социальной мобилизации, административных институтов и практик (как формальных, так и неформальных). В той мере, в которой конституции фиксируют эту реальность, отражают ее изменения или, напротив, целенаправленно уклоняются от выполнения данной задачи – они выступают достоверным источником информации о социальной реальности. Номинальность права (в юридическом смысле) при этом не имеет принципиального значения. Напротив, провоцирует вызов исследователю – стремление понять, почему политическая система избегала правового оформления действительных социальных отношений и механизма власти, каким образом при внешне монолитной системе номинального права оказывались возможны различные институциональные схемы, каковы были когнитивные параметры адаптации общества к ним в рамках принятых системой формальных и неформальных практик социально-правового регулирования.

Интерпретация логики политического процесса возможна с позиций классического институционализма, раскрывшего имманентную связь социальной структуры и правовых норм и неоинституционализма, настаивающего на учете когнитивно-информационных параметров юридического конструирования институтов⁴⁹. Основное различие двух подходов – решение вопроса о роли права в институциональном конструировании. Если первое направление видело в институтах корпоративные структуры, наделенные единством организующей воли, то второе видит свою задачу в выявлении самостоятельного значения правовой нормы в конструировании социальных отношений и самих институтов. В этом смысле всякое право (в том числе номинальное) как система норм есть социальная реальность, определяющая функционирование социальных институтов (поскольку нормы создают информационную основу формирования структуры институтов и их деятельности). Практический вывод из неоинституционального подхода к праву состоит в рассмотрении права и правовых норм как важнейшего фактора организации и трансформации общества. Сами институты предстают как «правила игры» – ограничительные рамки во взаимодействии людей, а институционализация определяется как процесс, связанный с эндогенными и экзогенными факторами, может быть видимой (фиксируемой в письменно закрепленных правилах и процедурах) и невидимой (основанной на периодическом воспроизводстве определенных поведенческих установок), спонтанной и регулируемой (направленная селекция соответствующих практик для достижения определенной цели), а само регулирование может осуществляться в правовой и квазиправовой форме. Процессы институционализации могут иметь как формальный, так и неформальный харак-

⁴⁸ Шейнис В. Л. Власть и Закон: политика и конституции в России XX – XXI веках. М., 2014. С. 18.

⁴⁹ Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.

тер, порождая конфликт соответствующих практик⁵⁰. Его результатом может стать конвергенция формальных и неформальных правил или их дивергенция – отторжение новых формальных институтов и норм или изменение их функционального назначения. В крайней форме конфликт двух типов институтов и практик может привести к параличу системы. Преодоления конфликта система ищет в принятии защитных образцов поведения, которые могут привести к деформации формальных установлений или радикальному изменению их функционирования. Институционализация неформальных практик означает, что они рутинизируются – обретают устойчивость и повторяемость в силу соответствия базовым ценностям группы. Основными факторами, определяющими вектор и глубину институциональных изменений, выступают идеология, интересы правящей группы (элиты), практические задачи управления.

Источниковедческая база данного исследования включает три основных корпуса документов, отражающих идеологические установки, нормативно-правовое регулирование и социально-политический контекст конституционного конструирования. Это, во-первых, документы политических партий и общественных организаций России (прежде всего программные документы и материалы внутрипартийных дискуссий по их модификации); во-вторых, материалы конституционных и законодательных комиссий – от Учредительного собрания до Конституционного совещания 1993 г.); в-третьих, материалы прессы (русской и иностранной), посвященные обсуждению этих вопросов и отражающие состояние общественного сознания в данной области. Наибольшее значение для ответа на поставленные вопросы имеют материалы конституционных комиссий XX в. – высших законосовещательных институтов политической системы, в которых велось обсуждение конституционных проектов перед их формальным принятием органами высшей законодательной власти (Съездами советов или Верховным Советом)⁵¹. Это – ставшие впервые доступными в полном объеме архивные материалы по подготовке Учредительного собрания и пяти советских конституционных комиссий, обсуждавших и разрабатывавших проекты советских конституций 1918, 1924, 1936 и 1977 гг., а также несостоявшейся Конституции 1964 г. Их материалы отложились в ГА РФ в фондах ВЦИК, Верховного Совета СССР и его Президиума. К этой категории материалов примыкают документы Конституционной комиссии и Конституционного совещания 1993 г. В составе данного корпуса материалов выделяется документация нормативно-правового характера (программно-идеологические декларации, конституции, их проекты, тексты принятых и отклоненных поправок, комментарии к ним); документация, отражающая дебаты по конституционным вопросам (стенограммы заседаний комиссий и подкомиссий разного уровня, раскрывающие как формальную, так и неформальную сторону обсуждения, в частности – роль партийного вмешательства); аналитическая документация (различные информационные сводки, отражающие использование зарубежного и российского опыта); документация, отражающая отношение общества и политической элиты к проектируемым конституционным проектам (от материалов так называемых «всенародных обсуждений» до обзоров иностранной, эмигрантской и российской прессы, включая сводки оппозиционных мнений); документация, направленная на выявление эффективности новых институтов и процедур – избирательной системы, партийных и общественных организаций, отдельных социальных инициатив (экспертные заключения по правовым и политическим вопросам); наконец, это значительная документация, отражающая правовой статус, структуру, состав и порядок деятельности конституционных и законодательных комиссий, включая различные мнения самих разработчиков.

⁵⁰ Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. М., 2013.

⁵¹ Медушевский А. Н. Конституционные комиссии в СССР: структура, состав, механизмы деятельности // Гражданское общество в России и за рубежом. 2016. № 1–2.

Уникальность данной документации определяется статусом конституционных комиссий, которые для своих целей аккумулировали информацию всех высших учреждений и партийных инстанций, проводили не только правовой, но и политический анализ норм, занимались мониторингом их институциональной реализации, имея при этом определенную свободу обмена информацией и обсуждения вопросов, практически недоступную другим официальным советским учреждениям. По ключевым спорным вопросам нами привлекались мемуарные источники, а также публицистика соответствующей направленности. Этот корпус как опубликованных, так и неопубликованных (выявленных в архивах) документов позволяет полноценно реконструировать содержание и основные этапы истории номинального советского конституционализма, показать, каков был механизм принятия решений, какие факторы оказывались определяющими для выработки стратегии правового развития и его пересмотра на всем протяжении существования советского режима. Это позволяет понять: а) из чего исходили авторы конституций, б) какой смысл они вкладывали в те или иные нормы; с) как соотносились замысел и его реализация на уровне норм, институтов и политических установок. В целом прослеживается смена идеологических установок, норм и их соответствия с практикой политического режима. Обсуждение и принятие конституций – когнитивный момент (обретение смысла), раскрывающий связь номинальных правовых норм с задачами социальной мобилизации.

В данном исследовании в центре внимания оказывается именно номинальный советский конституционализм – система его норм, институтов и практик. Предстоит выяснить, как и почему в результате крушения абсолютизма и демократической республики возник данный феномен; каковы были те психологические установки, нормативные конструкции и их проекции в институтах и социальных практиках, которые обусловили его утверждение и столь длительное существование на протяжении большей части XX столетия; ответить на вопрос, был ли данный тип правового регулирования неизменным на всем протяжении своего существования или включает определенные этапы трансформации, и если да, то какие факторы ее определяли; как в структуре номинального конституционализма взаимодействовали идеологические принципы, правовые нормы и социальные практики, до какой степени номинальные правовые нормы определяли подлинную институциональную структуру политического режима и механизмы его функционирования, наконец, определить причины крушения данной системы политико-правового регулирования. Это исследование имеет не только академический интерес, но и практическое значение, позволяя решить проблемы современного общества: в какой мере принятие действующей постсоветской модели конституционного устройства было разрывом с традициями номинального советского конституционализма, а в какой представляет их продолжение, до какой степени советские правовые конструкции ведут к эрозии демократических принципов и каковы, исходя из этого, должны быть дальнейшие шаги по модернизации современной формы правления, политического режима, политики права и правоприменительной деятельности⁵².

Когнитивный анализ источников советского периода, направленный на выявление смысла социальных процессов, их вариативности и доказательности исторической реконструкции, сталкивается с рядом специфических трудностей. Главная из них – необходимость различать подлинные и декларируемые цели конституционных преобразований. Мифологизированное сознание трудно поддается выражению в рациональных категориях. Масштаб оценок основополагающей легитимирующей формулы в идеологических понятиях современниками революции изначально определялся предположением, что она продлится вечно, однако по мере консолидации режима выяснилась необходимость формального языка для описания явлений. Но попытка выразить миф в правовых понятиях с использованием формального (правового) языка демонстрировала иррациональность происходящего (миф плохо поддается фор-

⁵² Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад. М., 2014.

мализации). Поэтому все советское право – поиск эвфемизмов (понятий с неопределенным содержанием), иногда – виртуозный, иногда – нелепый.

Это ставит исследователя советской правовой системы в положение медиевиста, изучающего средневековые теологические конструкции с использованием специальных методов исследования. Первый из них – *семантический анализ* ключевых понятий (коммунизма, демократии, справедливости, суверенитета, федерализма, собственности, прав личности), смысл которых с течением времени оказывался различен, если не противоположен изначальному. Второй – *источниковедческий анализ*, позволяющий раскрыть соотношение намеренной и ненамеренной информации, особенности фиксации этой информации в документах различного происхождения (конституционных проектах), подлинные мотивы их создателей (в том числе те, которые они четко не осознавали или тщательно камуфлировали). Третий – *функциональный анализ* идеологических принципов, правовых норм и институтов в политической системе. Его применение в культурной антропологии и сравнительном правоведении основано на постулате сравнения сравнимого: соответствующие институты могут иметь внешнее формальное сходство, но применяться с разной целью, или наоборот, не иметь этого сходства, но действовать идентично. Подлинным критерием доказательности сравнения институтов выступает, следовательно, типологическое сходство их функционирования (в разных политических системах или на различных стадиях развития одной системы).

Синтезом этих трех направлений анализа выступает *контекстуальный (сценарный) подход к реконструкции динамики революционного процесса*, представленный в современной историографии революций. Он выражается шекспировской метафорой театра, подчеркивающей инсценируемый характер соответствующих инициатив. Если весь мир – театр, то нормы революционного права – сценарий, написанный утопистами, деятельность разработчиков – игра (которая постепенно отклоняется от первоначального сценария), зрители представления – все общество, часть которого выступает в виде активных участников инсценировки, а часть – в виде пассивного хора. Режиссером всего спектакля выступают партия и ее вождь – истинный инициатор всех мероприятий по введению новых конституций. По ходу представления выясняется, что сценарий – это миф, рациональный выбор на самом деле иррационален, игра актеров не соответствует сценарию, вынуждая неоднократно переписывать его по ходу действия, а развязка драмы – обратна той, которую предполагал режиссер. Тот сценарий, который стал доминирующим (большевистский), определил направления правового и социального конструирования реальности. Но это не значит, что он оставался неизменным. За время своей реализации он прошел существенную эволюцию, основными вехами которой стали партийные программы и принятые конституции. Переписывание сценария велось по одним лекалам (идеология сохраняла фундаментальную преемственность), но к концу он очень существенно отошел от первоначального смысла. Расколдовывание мира, «рутинизация харизмы», движение системы в направлении реальности, осуществлявшееся идеологами, политиками и бюрократами режима, – доминирующий социологический вектор трансформации режима и его мифа. Есть в этой схеме и роль театрального критика – независимого ученого, дающего оценку представлению. В его задачу входит оценить содержание первоначального сценария, рациональность (или иррациональность) его последующих корректировок, качество игры актеров, правдоподобность декораций, реакцию аудитории, а в конечном счете – общий результат с позиций этики, разума и даже эстетики. Это позволяет завершить когнитивный анализ выяснением смысла событий, отраженного в логике политико-правовой трансформации революционного режима от его установления до деградации и крушения. Кровавый фарс революции можно понять с учетом намерений инициаторов, использованных средств и результатов социального эксперимента.

Структура исследования подчинена решению центральной проблемы – *эволюции легитимирующей формулы* русской революции: поиску ее оптимальной формулы в начале рево-

люционного процесса – от свержения монархии в ходе Февральской революции 1917 г. до Учредительного собрания (гл. I–III); утверждению ее большевистской версии – от попытки непосредственного воплощения мифа Коммуны в Конституции РСФСР 1918 г. и создания советской институциональной системы до корректировки этого замысла в ходе образования СССР и принятия Конституции 1924 г. (гл. IV–VI); введению новой редакции данной формулы в период консолидации сталинского режима – принятия Конституции 1936 г. и кампании массовой мобилизации на ее основе (гл. VII–IX); модификации легитимирующей формулы в период «оттепели» – в конституционном проекте 1964 г. (гл. X); закреплению ее полностью выхолащенной трактовки в эпоху «застоя» в Конституции 1977 г. (гл. XI); запоздалым попыткам ревитализации данной формулы в конституционных преобразованиях эпохи перестройки (1985–1991), закончившимся полным отказом от нее, но определившим ключевые параметры формирования постсоветской политической системы (Конституция 1993 г. и направления ее современной интерпретации) (гл. XII). В заключительном разделе представлены итоги исследования – предложена авторская интерпретация смысла русской революции.

Замысел книги – понять русскую революцию не только как трагический разрыв в истории России, но как длительный исторический процесс – часть глобальной социальной и правовой трансформации; осуществить последовательную реконструкцию правовой и политической традиции номинального конституционализма, выразившей институциональные основы, динамику и крушение советской системы; ответить на вопрос о преемственности легитимирующих форм власти периодов самодержавия, однопартийной диктатуры и современной России. Осмысление опыта политической истории революции позволяет конвертировать его в знание, а это последнее – в стратегии современных политических реформ.

Глава I. Старый порядок и революция в России

Русская правовая традиция есть пограничный вариант континентальной правовой системы – модель традиционного права, радикально преобразованная модернизацией Нового времени. Модель – нестабильная, циклическая, вынужденная постоянно преодолевать феномен правового дуализма, возвратных движений и до настоящего времени находящаяся в процессе догоняющего развития⁵³. Исторические срывы на этом пути, крупнейшим из которых стала русская революция XX в., объясняются вовсе не существованием особой исторической «матрицы» – неизменных констант русской истории, но устойчивыми стереотипами сознания, почти с регулярной периодичностью воспроизводимыми и отбрасываемыми русским обществом. Понимание этих стереотипов, причин их воспроизводства, а главное – механизмов действия, составляет задачу когнитивной истории, раскрывающей вариативность выбора каждой эпохи и форм его реализации в альтернативных программах политического устройства. Отказ от экономического детерминизма и классовой теории в изучении революций и реформ заставляет пересмотреть сам предмет исследования: если системный кризис самодержавия существовал, то он был кризисом сознания, а не экономики. Причина революции – неспособность традиционалистского авторитарного режима овладеть тем процессом модернизации, который был успешно начат либеральными реформами 60-х годов XIX в., но не доведен до логического конца. Ситуация незавершенной модернизации есть ситуация неустойчивого равновесия, в которой традиционный политический режим оказывается (при внешней силе) чрезвычайно непрочен и легко становится жертвой сравнительно незначительных воздействий внутреннего или внешнего характера⁵⁴. Это и есть именно та среда, в которой возможна (но не неизбежна) революция. Февральская революция – исторический рубеж в развитии российской демократии, связанный с началом практического перехода от сословного общества к гражданскому и от монархической системы правления к республиканской. Однако всего через полгода данная система (первой республики) потерпела крушение, пав жертвой антидемократического государственного переворота, получившего название Октябрьской революции 25 октября 1917 г.

Крушение демократической системы, начавшей формироваться в России после Февральской революции 1917 г., принципиально изменило направление развития российской и мировой истории XX в.⁵⁵ В то же время этот кризис оказался первым в ряду антидемократических переворотов в межвоенной Европе и других регионах мира, приведших к крушению парламентаризма и установлению диктаторских режимов различной политической направленности, ввергших человечество в цепочку гражданских войн и расколовших мир на две враждебные системы. Поход на Рим Муссолини, крушение Веймарской республики, установление диктатур в Испании и Португалии межвоенного периода, а также странах Центральной и Восточной Европы – выражение той же циклической динамики конституционализма. В чем причина того, что демократическая система не смогла удержаться в России? В нашу задачу входит найти объяснение данного феномена, определить его типологическую природу в контексте других переходных процессов, выявить механизмы эрозии демократии, технологии, которыми они управляются.

⁵³ Медушевский А. Н. Российская правовая традиция – опора или преграда? М., 2014.

⁵⁴ Медушевский А. Н. Ключевые проблемы российской модернизации. М., Директ-Медиа, 2014.

⁵⁵ Модели общественного переустройства России. XX век. М., 2004.

1. Социальный кризис с позиций теории и методологии когнитивной истории: закон Токвиля и русская революция

При объяснении причин и логики развития революционных кризисов в современной социологии революции используется концепция, известная как «закон Токвиля»⁵⁶. Его суть состоит в следующем: революции происходят тогда, когда период подъема, сопровождающийся ростом обоснованных ожиданий, сменяется периодом спада, при котором, однако, ожидания продолжают расти. Продолжающийся рост завышенных ожиданий в условиях относительного спада (или стагнации) перестает, следовательно, соответствовать реальной ситуации в экономике и политике. Следствием становится рост недовольства (фрустрация), а основным способом ее преодоления – социальная агрессия. Данная логика приводит к свержению Старого порядка и последовательному делегированию власти от умеренных к радикалам⁵⁷. Раз начавшись, революция не может остановиться на середине и завершается лишь с исчерпанием своего деструктивного потенциала. В результате на смену революции приходит Реставрация – частичное восстановление старого режима в новых формах. Концепция Токвиля оказалась определяющей для переосмысления Французской революции в современной историографии⁵⁸. Данная парадигма обсуждается в современной литературе как в отношении классических, так и новейших революций в арабских и постсоветских странах. Общим итог этих размышлений заключается в том, что революции есть срыв устойчивого и поступательного развития в результате спонтанной реакции неподготовленного общества на трудности ускоренной модернизации⁵⁹. Цели революции, следовательно, не отличаются от целей радикальных социальных реформ и могут быть достигнуты без спонтанного социального разрушения. Представляет актуальность вопрос, насколько эта концепция актуальна при интерпретации русской революции. В центре внимания при таком подходе оказываются параметры когнитивной истории: формирование картины мира революционной эпохи; психологические установки общественного сознания и механизмы управления им; поляризация общественного мнения и партийных установок при выяснении отношений сущего и должного.

Основным однородным источником информации по данному вопросу выступает документация политических партий России революционного периода – целостный комплекс, идеально соответствующий поставленной задаче⁶⁰. Во-первых, эти документы охватывают все общество, анализируя конфликт на макроуровне; во-вторых, фиксируют установки и требования различных социально-политических сил к власти; в-третьих, показывают динамику изме-

⁵⁶ *Tocqueville A. de. L'ancien régime et la Révolution. Paris, 1967.*

⁵⁷ *Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. М., 2005. С. 405.*

⁵⁸ *Furet F. Tocqueville et le problème de la Révolution française // Furet F. Penser la Révolution française. Paris, 1978. P. 173–211.*

⁵⁹ *Медушевский А. Н. Алексис де Токвиль: социология государства и права // Социологические исследования. 2005. № 10. С. 119–128.*

⁶⁰ Весь корпус этих документов опубликован в Новейшее время: Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1–2; Объединенное дворянство: Съезды уполномоченных губернских дворянских обществ. М., 2001–2002. Т. 1–3; Либеральное движение в России 1902–1905 гг. М., 2001; Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1915 гг. М., 1996–2000. Т. 1–2; Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы 1906–1916 гг. М., 2002; Партии российских промышленников и предпринимателей. Документы и материалы 1905–1906 гг. М., 2004; Российские либералы: кадеты и октябристы. Документы, воспоминания, публицистика. М., 1996; Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. М., 1997–2000. Т. 1–3; Протоколы Центрального комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии 1905 – середины 1930-х годов. М., 1996–1999. Т. 1–6; Всероссийский национальный центр. М., 2001; Меньшевики в большевистской России. 1917–1924 гг. М., 1997–2004. Т. 1–5; Меньшевистский процесс 1931 года. М., 1999. Кн. 1–2; Бунд. Документы и материалы. 1894–1921. М., 2010; Трудовая народно-социалистическая партия. Документы и материалы. М., 2003; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы 1905–1925 гг. М., 1997–2000. Т. 1–3; Союз эсеров-максималистов. Документы, публицистика 1906–1924 гг. М., 2002; Анархисты. Документы и материалы. М., 1999. Т. 1–2.

нения настроений и раскрывают психологическую их мотивацию (выражающуюся в преобладании определенных партийных программ на разных фазах революции); в-четвертых, содержат экспертный анализ по важнейшим параметрам избранной модели социального конструирования (в том числе в сравнительном контексте); в-пятых, показывают механизм принимаемых решений и позицию лидеров в условиях быстрых социальных изменений. Они позволяют выявить *общие* оценки динамики революционной ситуации, независимо от идеологических и партийных предпочтений. Наконец, это исследование раскрывает особенности трансформации исходных концепций революции в сравнении с их последующими модификациями. Ключевые проблемы, реконструируемые на основе представленной документальной базы, таковы: соотношение исходной стабильности и революционных установок; причины крушения российского Старого порядка; природа революционного мифа; фазы революционного цикла; социальные функции революционного экстремизма; ошибки политической власти, не позволившие остановить запуск механизма спонтанного саморазрушения общества; постреволюционная стабилизация и возможные пути ее осуществления.

2. Консервативная, реформистская и радикально-революционная стратегии разрешения социального конфликта

Исходная стабильность российской политической системы выступает как константа в программных документах всех политических партий революционного периода. Она понималась в целом как исторически сложившийся консенсус общества и власти, выраженный в особом типе политической системы – самодержавном строе. Его суть определялась в традициях юридической школы как особый механизм социального регулирования, предопределивший ключевую роль неограниченной государственной власти в социальных преобразованиях. Данная конструкция, эффективная в прошлом, начала давать сбои в условиях быстрых социальных изменений и нуждается в пересмотре. Однако масштаб и направления этого пересмотра раскалывали общественное сознание, выявляя три основные позиции – консервативную, реформистскую и революционную.

Суть *консервативной позиции*, последовательно выраженной правыми партиями, заключалась в том, что политическая система самодержавия, принципиально отличная от европейских моделей, не нуждается в радикальном пересмотре: опираясь на уникальный принцип «соборности», она сохраняет эффективность и в новых условиях, гарантируя социальную стабильность и создавая основы для поступательного развития в будущем. Политическая система, возникшая в результате революции 1905–1907 гг., не является конституционной. Ключевое понятие Основного закона – «самодержавие» – тождественно неограниченной власти монарха, «потому что ограниченного самодержавия не может быть так же, как не может быть, например, мокрого огня или четырехугольного круга», фактически «у нас и после 17 октября нет конституции»⁶¹. Природа революционного кризиса – в разрушении нравственных (прежде всего религиозных и национальных) устоев общества, влекущем за собой его дезориентацию в условиях войны, используемую в своих целях внешними и внутренними врагами государства, прежде всего маргинальными элементами – агитаторами, компенсирующими таким образом свой комплекс неполноценности. Они суммарно определялись как «все эти безусые и усатые студенты, подозрительные евреи, какие-то барышни и дамы, все эти ораторы, призывающие вас к братоубийственной войне, к отдельным подлым, предательским, чудовищно бессмысленным убийствам»⁶². Революционное решение проблемы неприемлемо: «ужасы французской революции» и «лживость ее девизов – свободы, равенства и братства» – выгодны только подрывным элементам – радикальным фанатикам и космополитической либеральной интеллигенции, которая определялась как «чудовищная гидра». В условиях кризиса основная задача состоит в том, чтобы обеспечить «водворение порядка и спокойствия в стране», используя для этого все возможные методы, включая репрессивные – «радикальные устрашающие меры»⁶³. Речь должна идти поэтому не об отказе от системы, а о снятии социальных деформаций, блокирующих ее полноценное функционирование (имевшее место в прошлом, но утраченное в Новейшее время). Целью преобразований выступает, следовательно, не парламентаризм и конституционализм, а справедливое разрешение аграрного вопроса и возвращение к аутентичной трактовке самодержавия – преодоление бюрократических извращений.

Реформистская позиция (представленная октябристами, конституционными демократами, другими умеренными партиями) в принципе опиралась на традиционную (академи-

⁶¹ Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. С. 111–113, 542.

⁶² Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. С. 343–344.

⁶³ Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. С. 122, 212, 614–619.

ческую) трактовку исторического генезиса российской государственности, но включала три существенных особенности: во-первых, она отказывалась видеть в ней «самобытное» явление, рассматривая самодержавие как аналог европейского абсолютизма (более ранних периодов истории); во-вторых, считала эту модель утратившей эффективность в Новейшее время; в-третьих, настаивала на необходимости корректировки политической системы правовым путем. Политическая система, возникшая в 1905 г., получила поддержку партии «Союз 17 октября» именно потому, что позволяла совместить исторически легитимную монархическую власть с ее конституционными ограничениями. Было признано, что «монархия стала ограниченной», а сохранившееся в основном законодательстве понятие «самодержавие» не означает «неограниченности» этой власти. Фактически констатировалось принятие октроированной конституции – «государь по своей собственной воле ограничил свою власть». Октябристы (ядро которых составляли умеренно-либеральные представители общеземских съездов) позиционировали себя как «искренние монархисты по убеждению», видевшие в конституционной монархии «противодействие идее деспотизма олигархии или массы»⁶⁴. С этих позиций «Союз» интерпретировал революцию как социальную катастрофу – «Смуту» (по аналогии с событиями начала XVII в.), отвергал «всякий насильственный путь для достижения свободы» и особенно «отвратительные кровопролития», объявлял себя партией центра, которая заняла «среднюю позицию между всеми русскими политическими партиями», отстаивал необходимость широкой демократической коалиции, выступающей против двух крайних течений – угрозы революции и реакционного возврата к абсолютизму.

Сходная программа выдвигалась рядом других консервативно-либеральных политических объединений, установки которых представлены в их обозначении – «Партия демократических реформ», «Партия правового порядка», «Прогрессивно-экономическая партия», «Все-российский торгово-промышленный союз», «Демократический союз конституционалистов» и «Союз мирного обновления». Сами названия этих партий, как и содержание их программ, четко показывают их умеренно-реформистский характер. Государственное устройство Российской империи определялось ими в соответствии с Основным законом как наследственная конституционная монархия, принятие законов в которой осуществляется на основе согласия народного представительства и утверждения императора. Эта система, однако, находилась на стадии формирования (многие положения закреплены только «на бумаге») и вынуждена была отражать как деструктивные революционные тенденции, так и консервативно-реставрационные тенденции к бюрократическому склерозу. Поскольку массовое сознание не было готово к принятию ценностей правового государства, была велика опасность его срыва. Главной задачей переходного периода в России было не допустить раскачивания того маятника конфронтации крайних сил, который действовал в ходе Английской и Французской революций, запуская весь цикл от свержения монархии до ее реставрации. «Партия демократических реформ» выступала «и против владычества невежественной черни, и против ее исчадия – народного цезаризма», отстаивала концепцию «свободы в праве и равенства в свободе», что «мыслимо только при широком просвещении народных масс вместе с образованием, и тесно связанным с ним сознанием своих прав и обязанностей». Основной формулой политического процесса согласно программе этой партии должно стать «видоизменение и развитие существующего»⁶⁵. Поэтому преобразования должны иметь эволюционный характер: не Учредительное собрание, а расширение избирательных прав; не автономизация, а создание «верхней палаты, которая сделалась бы представительницей земских и городских миров»; не радикальное изменение формы правления, а введение «ответственного правительства» и широкое развитие местного само-

⁶⁴ Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1915 гг. М., 1996. Т. 1. С. 48–50, 152.

⁶⁵ Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы 1906–1916 гг. М., 2002. С. 40.

управления; не земельный передел, а строительство гражданского общества – защита личных прав, «равноправие полов, национальностей и вероисповеданий»; не революционная агитация, а распространение просвещения. Сходным образом «Партия мирного обновления» искала идентичность в отмежевании «как от крайне левых партий, считающих возможным изменить общественный строй путем насильственного насаждения отвлеченных теорий, так и от тех правых элементов, которые удовлетворяются лишь частичными улучшениями»⁶⁶. Позиционируя себя как партию «конституционного центра», которая «призвана объединить все истинно-конституционные элементы для борьбы с усилившейся реакцией», она выдвигала программу осуществления «классового мира» – достижения консенсуса для «обновления государственного строя на конституционных началах», проведения земельных преобразований, судебных и административных реформ «во имя ценности человеческой личности», последовательное осуществление принципов конституционной монархии для преодоления режима «личной власти». Это означало осуждение спонтанных форм аграрного протеста («безумная пугачевщина»), революционного терроризма (политических убийств) и произвола власти (требования отмены смертной казни). Наконец, «Партия промышленников и предпринимателей» внесла в эту общую программу существенный прагматический компонент – обеспечение национальной, религиозной и государственной идентичности в традиционных формах, то есть защиту фундаментального принципа частной собственности от покушений коммунистов, отстаивание «всеобщего равенства граждан путем уничтожения всех сословных привилегий»; переход от общинного владения землей к личному; выстраивание стабильных институтов рыночной экономики. «Кровавое зарево революционного пожара», развернувшегося в результате популизма левых партий, разрушение экономики в результате социальной анархии (экспроприаций и забастовок), паралич административно-судебной системы – все это должно быть преодолено конструктивными силами общества на основе ценностей общественной солидарности, завещанных Петром Великим – «свобода, знание и труд»⁶⁷. Эти установки, аккумулированные в программе «Союза 17 октября», исключали коалицию с партиями, не разделявшими центристские позиции – не признававшими конституционно-монархического строя, единства и неделимости России (при равноправии всех национальностей), не стремящимися к осуществлению свобод, данных Манифестом 17 октября или требующими созыва Учредительного собрания⁶⁸. Именно поэтому октябристы отказались от сотрудничества с другой либеральной партией – кадетами («монархистами из тактических соображений»), победа которых воспринималась как угроза единству страны (допущение автономии) и политической системе.

Конституционные демократы, образовавшие партию народной свободы, оценивали политическую систему скорее как протоконституционную. Понимая незавершенность конституционных гарантий в «Основных законах» 1906 г., они тем не менее программно подчеркивали ограниченный характер монархической власти после Манифеста 17 октября 1905 г.: «Слава Богу, у нас есть конституция» и «Дума есть вид парламента», «русская оппозиция становится оппозицией Его Величества»⁶⁹. В оценках политической системы прослеживается существенная дифференциация между правыми и левыми кадетами – от признания ее состоявшейся конституционной монархией до тезиса об имитационном характере уступок монархии. Это различие позиций нарастало по мере разворачивания революционного кризиса. Критическая позиция выражалась в оценке Думской монархии как «лжеконституционализма» или «мнимого конституционализма». Кадеты пришли к выводу, что в стране «восстановлен старый

⁶⁶ Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы 1906–1916 гг. М., 2002. С. 63–64.

⁶⁷ Партии российских промышленников и предпринимателей. Документы и материалы 1905–1906 гг. М., 2004. С. 27, 44–48, 114, 175.

⁶⁸ Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1915 гг. М., 1996. Т. 1. С. 147.

⁶⁹ Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. М., 2000. Т. 2 (1908–1914). С. 83, 175.

абсолютный строй», а это предполагает дальнейшую «необходимость борьбы за упрочение Конституции»⁷⁰. Политическую трансформацию (аграрные преобразования, изменения избирательной системы, ответственное правительство, реформа Государственного совета) предполагалось осуществить путем конституционно-правовых реформ либо путем созыва Учредительного собрания. Данная позиция определяла смену приоритетов – переход от самодержавия к конституционной монархии, а затем парламентской республике. В целом «между борющимися силами реакции и революции демократический конституционализм выставил принцип легальной конституционной борьбы»⁷¹.

Революционный кризис определялся кадетами как социальное возбуждение – «психология масс, легко возбудимых, фатальных». Управлять им – значит следовать за массовым сознанием, что неприемлемо. «Идти с массами и овладеть ими – превосходный рецепт, когда он осуществим; но если идти к массам – значит отдаться их бурлящему потоку, то на это нельзя согласиться. Трудно ценить активность, которая выражается в плавании по равнодействующей разных течений»⁷². Это значит, что революция должна быть остановлена в определенной точке, а социальное недовольство – использовано против правительства исключительно для обеспечения конституционных преобразований. В условиях революционного кризиса важно не допустить спонтанного развития процесса, т. е. запуска революционного цикла по образцу Французской революции. «Что дал бы стихийный ход революции? – спрашивал П. Н. Милюков. – Как полагается по классической теории всех революций, этот ход привел бы прежде всего к замене смешанного правительства чисто социалистическим, правительством большинства Советов, а в дальнейшем он мог бы привести к замене умеренного социалистического правительства крайними социалистическими представителями ленинского типа. Дальше анархия, террор, военный переворот и военная диктатура. Но, по счастью, можно сказать, классические образцы революции – не для России»⁷³.

Общая стратегия состояла в ожидании (и провоцировании) не социальной, но политической (конституционной) революции – такого обострения революционного кризиса, которое вынудит монархический режим пойти на радикальные уступки либеральной оппозиции под угрозой свержения, – не больше и не меньше. Эта ситуация неустойчивого равновесия должна быть использована для утверждения полноценного правового конституционного строя. Данная позиция определила различное отношение центристов и левых либералов к правительству, революционному движению и террору. Россия при попустительстве кадетов, считали октябристы, «быстрыми шагами идет к повторению французской революции», поскольку левое большинство (кадеты) стремится «обратить Думу в Учредительное собрание, диктующее свою волю монарху»⁷⁴. Роспуск Думы 3 июня 1906 г. был квалифицирован обеими партиями как «переворот», однако октябристы оценили его как «акт государственной необходимости», в то время как кадеты – как сигнал к кампании гражданского неповиновения власти (Выборгское воззвание). Ключевым фактором в расхождении позиций стало различное отношение к революционному террору. Октябристы выступали за его жесткое подавление, отстаивали «необходимость скорого и строгого суда для твердой борьбы с анархией», и повторяли, вслед за П. А. Столыпиным, что на акты революционного насилия правительство должно отвечать «энергичным подавлением» – юридически обоснованным и соразмерным применением карательных мер. Кадеты, в принципе отрицательно относившиеся к террору, не пошли, однако, на его однозначное осуждение. Даже правые кадеты (как «любимец октябристов» В. А. Макла-

⁷⁰ Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии. М., 1997. Т. 2 (1912–1914). С. 41–45.

⁷¹ Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. М., 2000. Т. 2. С. 242.

⁷² Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии. М., 1997. Т. 2. С. 103.

⁷³ Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. М. Т. 3. Кн. 1 (1915–1917). С. 692.

⁷⁴ Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1915 гг. М., 1996. Т. 1. С. 244–245, 292.

ков) связывали эту акцию с устранением репрессий и произвола, левые – вообще отказались от осуждения террора. Обеспечение легитимности политической системы в новых условиях социального развития предполагает, по мнению либеральных партий, удовлетворение социальных запросов основных групп общества, необходимость уступок консервативной власти при одновременном общественном давлении на нее. Смыслом всего процесса трансформации должен стать переход к гражданскому обществу и правовому государству, а формой – конституционная (дуалистическая) монархия или (позднее) парламентский режим правления (в монархической или республиканской форме). В самом крайнем проявлении это была программа конституционной (но не социальной) революции.

Радикально-революционная позиция (представленная всем спектром «социалистических» партий от эсеров до большевиков) отрицала легитимность существующей системы как таковой: возникновение российской политической системы определялось как изначальная историческая несправедливость – узурпация политической властью и правящими классами народных прав – свободы, собственности и равенства. Речь должна идти о возвращении народу отчужденных прав – возвращении фактического социального равенства, радикального революционного пересмотра исторически сложившихся «правил игры» путем свержения самодержавия и утверждения непосредственного народного правления в виде социальной республики («трудовой республики», «республики советов» или «федерации коммун»). Краеугольным камнем социального переустройства эсеры считали решение аграрного вопроса – социализацию земли, а основным способом достижения цели – социальную революцию: восстание масс под руководством инициативного революционного меньшинства.

Для этих умонастроений характерно конструирование теории революционного «психологического момента» – такого состояния массового сознания, когда в обществе появляется особый «источник психической энергии» – «социалистический энтузиазм», способный поднять народ на «вооруженное восстание» с целью захвата земли или заводов. Основными способами «пробуждения» масс эсеры (как и другие левые партии в традиционных аграрных обществах по всему миру) считали выдвижение популистской программы земельного передела, провоцирование актов гражданского неповиновения (в виде стачек и саботажа), борьбу с земельным и рабочим законодательством правительства путем мобилизации «сознательных» крестьян на акции протеста, использование уголовных методов – от экспроприаций собственности до насильственных эксцессов и «революционного хулиганства». Главная угроза для реализации данной программы усматривалась не столько в репрессиях, сколько в способности режима найти психологически приемлемую для населения прагматическую альтернативу революции. Угроза усматривалась в ограниченных конституционных преобразованиях с принятием Манифеста 17 октября 1905 г., интерпретировавшихся в целом как чисто макиавеллистическая акция: «правительство выбросило сахарную бумагу на муравейник, муравьи напозднили на нее и – были пойманы». Сходным образом интерпретировалась программа реформ Столыпина, которого сравнивали с Наполеоном и Бисмарком, остановившими революцию в Европе⁷⁵. Для преодоления спада революционных настроений, которые характеризовались как «переломление» и «подавленность» (со ссылкой на «объективную психологию» В. М. Бехтерева), рекомендовался решающий удар в «центр городов» или «центр центров» – использование аграрного и политического террора – убийств наиболее одиозных высокопоставленных представителей правящего режима⁷⁶.

Эсеры-максималисты шли еще дальше – мечтали о повторении в России Французской революции с ее основными этапами – от взятия Бастилии до созыва Конвента и раз-

⁷⁵ Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2001. Т. 2 (июнь 1907 – февраль 1917 г.). С. 190, 390–391.

⁷⁶ Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2001. Т. 2 (июнь 1907 – февраль 1917 г.). С. 30–47, 182, 246–256, 322–325.

работки Конституции 1793 г., брали на вооружение основные лозунги революции – «свобода, равенство, братство», отдавая при этом должное «социалистическим грезам левеллеров, анабаптистов, бабувистов». Революционные организации радикального народничества демонстрировали приверженность к заговорщической тактике Бабёфа⁷⁷ и якобинского клуба⁷⁸, суммированные в «Катехизисе революционера» Нечаева и доктрине М. Бакунина. Природа революционного кризиса в России интерпретировалась как взрыв общественных ожиданий, ведущий к спонтанному коллапсу системы Старого порядка. В России констатировалось присутствие «всех признаков великой Революции», отмеченных во Франции Токвилем: «Все эти признаки – глубина и широта захвата; неодолимый и неукротимый рост революционного движения; молниеносная быстрота распространения революционного сознания, благодаря которой в самое короткое время уже совершился громадный внутренний переворот, хотя и не добившийся еще своего внешнего выражения; роковой, фатальный характер процесса, развивающегося с неумолимой и неодолимой логикой в определенном направлении, проявления энтузиазма, который можно назвать религиозным; явно пробивающееся стремление к новой, совершенно новой, основанной на правде и справедливости, жизни, – все это признаки начала великой революции». Механизм революционного процесса имеет спонтанный характер – его импульс исходит из среды народа, а не от партий, развивается по нарастающей, постепенно охватывая все социальные слои, отличается постоянным ростом максимализма требований вплоть до их полного осуществления. Ибо «логика внутреннего, психологического процесса, лежащего в основе великих революций, сама по себе должна привести к этому». Коммунистическая организация всемирного общества будущего не ставится под сомнение, однако допускаются ситуации срыва революционного процесса. Отступление от идеала определяет деградацию революционного правительства к авторитарному режиму: «когда колесо революции совершит свой полный круг, он будет использован каким-нибудь диктатором – если, конечно, таковой окажется налицо, так как Кромвели и Наполеоны не являются по первому требованию, но только в случае неудачи революции, в случае разочарования»⁷⁹. В этой ситуации решающее слово принадлежит «творческой роли инициативного меньшинства», способного аккумулировать деструктивные настроения, организовать протест, захватить власть и удержать ее. Настоящий революционер, подобно хирургу, должен не просто диагностировать болезнь, но быть готовым к радикальной операции – если заражена рука, то бесполезно отрезать пальцы, «он должен отхватить всю руку»⁸⁰.

Русская социал-демократия, следуя канонам марксизма, не могла не учитывать этих проявлений радикализма, но была поставлена ими в тупик. Меньшевики, опираясь на марксистскую теорию классового конфликта, не создали полноценной концепции русской революции, видя в ней аналог буржуазно-демократических революций в Европе, своеобразие которого заключалось в спонтанном проявлении «социалистического демократизма» народных масс. Неопределенность этого понятия выражала, в сущности, беспомощность сторонников европейской социал-демократии перед лицом необузданных революционных эксцессов традиционалистских масс, стоявших вне цивилизованных форм политики. Вклад ленинизма в марксизм (или его ревизию) состоял, как известно, прежде всего, в концепции так называемого «союза рабочего класса и крестьянства» в отсталых аграрных странах, учении о диктатуре, партии «нового типа» и элите «профессиональных революционеров», привносящей социалистическую идеологию в рабочее движение⁸¹. Это была корректировка европейского марксизма

⁷⁷ *Буонарротти Ф.* Заговор во имя равенства. М.: Л., 1948.

⁷⁸ *Kennedy M. L.* The Jacobin Clubs in the French Revolution. Princeton, 1988.

⁷⁹ Союз эсеров-максималистов. Документы, публицистика 1906–1924 гг. М., 2002. С. 22–24.

⁸⁰ Союз эсеров-максималистов. Документы, публицистика 1906–1924 гг. М., 2002. С. 83.

⁸¹ *Bottomore T.* Marxism and Sociology // A History of Sociological Analysis. London, Heinemann, 1978. P. 118–148; *Kolakowski L.* Hauptströmungen des Marxismus. Entstehung. Entwicklung. Zerfall. München; Zürich, 1981. Bd 1–3.

с позиций народничества и прагматических целей захвата власти в обществе с преобладанием традиционалистских инстинктов и поведенческих стереотипов. Даже те, кто считает, что Ленин был правоверным марксистом, согласны, что эволюция его взглядов и их фанатичное осуществление определялись не столько доктриной, сколько реакцией на социальные изменения и тактикой⁸².

Ретроспективно анализируя природу революционного кризиса, Ленин, вопреки догматическим постулатам исторического материализма, классовой теории и установкам социал-демократии, выдвинул оригинальную социологическую концепцию «революционной ситуации», которая не утратила своего значения до настоящего времени. Данная концепция в сущности воспроизводила положения «теоремы Токвиля», но использовала ее с обратной целью – провоцирования революционного кризиса для захвата власти. Она определяла причину революции как конфликт психологических ожиданий масс и невозможности их реализации существующей политической властью. «Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, – констатировал Ленин, – состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому». Эскалация завышенных ожиданий, сталкиваясь с неспособностью власти удовлетворить их, становится детонатором переворота: «Лишь тогда, когда “низы” не хотят старого и когда “верхи” не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса». Аккумулированное недовольство ведет к расширению протеста, охватывающего все общество – всплеску негативной психической энергии, выражением которой становится спонтанная социальная агрессия, которую остается только направить в нужное русло: «Значит, для революции надо, во-первых, добиться, чтобы большинство рабочих (или, во всяком случае большинство сознательных, мыслящих, политически активных рабочих) вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него; во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы (признак всякой настоящей революции: быстрое удесятерение или даже увеличение во сто раз количества способных на политическую борьбу представителей трудящейся и угнетенной массы, доселе апатичной)». Наступает коллапс старой власти – массовый протест «обессиливает правительство и делает возможным для революционеров быстрое свержение его» – возникает ситуация, которую должна использовать революционная партия, чтобы «увлечь за собой массы»⁸³. Данная концепция, действительно описывающая развитие революционных кризисов, не связывает их, таким образом, с экономической ситуацией или логикой «классовой борьбы», не затрагивает содержательной стороны революционных лозунгов определенного периода. Понятие «пролетариат» здесь чисто условное – оно означает всех активных участников революционного протеста (включая вообще маргинализованные элементы «трудящихся»). В России XX в. революционная ситуация имела место в 1905 г. и в 1917 г., а определенные ее проявления присутствовали в 1991–1993 гг. Она демонстрирует, каким образом управление общественным сознанием и массовой психологией в условиях социального кризиса способно повернуть его развитие в любом направлении (причем не обязательно в революционном, но и «контрреволюционном»).

Представленные три социологических подхода (консервативный, реформистский и революционный) были сходны в трех базовых выводах – оценке существующей политической

⁸² *Lith L. T. Lenin Rediscovered: «What is to be done?» In Context. Leiden, 2006. Haimson L. Lenin's Revolutionary Career Revised. Some Observations on Recent Discussions // Kritika: Explorations in Russian and European History. Bloomington, 2004. Vol. V. P. 55–80.*

⁸³ *Ленин В. И. ПСС. Т. 41. С. 70.*

системы как утратившей в новейший период привычную историческую неподвижность – нестабильной, противоречивой и неустойчивой; определении природы революционного кризиса как спонтанного психологического срыва в обществе; констатации необходимости радикальной трансформации политической системы. Они различались представлениями о масштабах и способах этой трансформации – возрождения аутентичной системы с устранением диспропорций, блокирующих реализацию ее потенциала; реформирования политической системы путем принятия западных правовых форм; ее радикального уничтожения во имя социальной справедливости. Очевидно, что с позиций теории рационального выбора наиболее устойчивым, эффективным и наименее социально затратным вариантом оказывалась реформистская программа – либеральная парадигма модернизации, впервые четко обозначенная Токвилем.

3. Природа революционного мифа: генезис, структура и формы проявления

Основным проявлением радикального социального конфликта становится появление особого революционного мифа – представления о возможности разрешения существующих противоречий путем прямого революционного действия. Генезис революционного мифа, как показали вслед за Токвилем русские аналитики, связан с противоречием позитивного права и правосознания – завышенных социальных ожиданий общества. «Если интенсивность переживания соответствующего интуитивного права очень высока, – отмечал Л. И. Петражицкий, – то возникающее на этой почве враждебное отношение к существующему строю часто порождает, по контрасту с этим строем, устремления, слишком далеко простирающиеся в смысле радикальности осуществляемых перемен, которые в результате оказываются несоответствующими уровню общественной психики. Подобный радикализм ведет к тому, что революция выплескивается за границы, очерченные потребностями общества»⁸⁴. Выражением революционного мифа становится утопический социальный идеал, который может иметь различные формы – от светских и даже претендующих на «научное» обоснование до вполне традиционалистских и религиозно мотивированных. Но его суть – в соединении идеологии и утопии, которые оказываются не сводимы к каким-либо доказательным (и эмпирически верифицируемым) положениям⁸⁵, ориентации социальной мобилизации массового сознания на разрушение существующего строя. Важно проследить, каким образом данный миф возникает, получает широкое распространение и в конечном счете становится господствующим в массовом сознании. В русской революции этот миф опирался на идею равенства и определял экспансию радикальных требований.

Причины утверждения данного мифа в России объяснялись в партийных программах незавершенностью аграрных преобразований при одновременном усилении социального расслоения в результате пореформенного капиталистического развития страны. Результатом становилось обостренное чувство социальной несправедливости и стремление к пересмотру фундаментальных социальных ценностей, отношений и институтов. Рост социальной напряженности, нараставший после Великой реформы 1861 г. и особенно в ходе Столыпинских аграрных реформ, достиг пика в годы Первой мировой войны, был связан с разрушением традиционных социальных институтов в условиях быстрого экономического развития; сбоем поступательного движения в условиях войны и глобального экономического кризиса, трудностями военного времени («относительная депривация»), ошибками правительства во внешней и внутренней политике, а в конечном счете – утратой легитимности традиционной монархической властью⁸⁶.

Следствием когнитивного закрепления революционного мифа в массовом сознании стала эскалация социального протеста и максимизация требований: отказ от традиционного консенсуса общества и власти; неприятие умеренных программ, основанных на рациональном расчете возможного социального согласия и рост социальной агрессии как формы коллективного поведения. Контуры революционного мифа и схема разрешения социального конфликта путем коллективного насильственного действия в своих общих основаниях сформировались

⁸⁴ Петражицкий Л. И. Социальная революция // Право и общество в эпоху перемен. М., 2008. С. 259–263.

⁸⁵ Mannheim K. Ideology and Utopia. Introduction to the Sociology of Knowledge. L., 1949. P. 131.

⁸⁶ Медушевский А. Н. Великая реформа и модернизация России // Российская история. 2011. № 1. С. 3–27; *Он же*. Как выйти из революции: стратегия преодоления социального кризиса в обществах переходного типа // Российская история. 2012. № 3. С. 3–18; *Он же*. Причины крушения демократической республики в России в 1917 году // Отечественная история. 2007. № 5. С. 3–30.

уже в ходе первой русской революции 1905–1907 гг.⁸⁷ Выводы, которые были сделаны из нее политическими партиями, оказались противоположны: если умеренные усматривали в ней недопустимый срыв социальной стабильности, то левые считали ее незавершенным проектом, позднее определяя как генеральную репетицию революции 1917 г. Соответственно различны были те «уроки», которые эти силы извлекли из событий революции: для правых либералов (сгруппировавшихся вокруг сборника «Вехи»), они заключались в противодействии экстремизму радикальной интеллигенции⁸⁸, для левых – в подготовке и провоцировании революционного кризиса для достижения власти⁸⁹. Причины, по которым неопределенные и аморфные революционные ожидания стали реальностью в ходе Февральской революции, а затем Октябрьского переворота, показаны в современной историографии. Они связаны в России (как и в других странах, переживших социальные революции) с условиями поиска социальной идентичности в расколотом обществе на стадии его быстрой трансформации, заставляющими значительную его часть искать самоопределения в революционном протесте⁹⁰; формированием особого революционного самосознания⁹¹, радикализмом интеллигенции⁹², в частности, студенческой молодежи⁹³, ростом национализма по мере ослабления имперского центра власти⁹⁴, расколом политической элиты старого режима в отношении перспектив сохранения власти и необходимых уступок революционному движению (ставшим определяющим фактором в падении царского режима и отречении Николая II в феврале-марте 1917 г.)⁹⁵. В условиях Первой мировой войны обострение этих противоречий выражалось в особом состоянии общественного сознания, возбужденного патриотической и националистической кампанией⁹⁶, но затем столкнувшегося с фактором военных неудач, стимулировавших кризис легитимности монархической власти. Это психологическое состояние общества, колебавшегося между апатией и радикализмом, характеризовалось двумя противоположными векторами – неуверенностью в будущем (и растущими опасениями) и ростом социального запроса к власти. Утрата режимом когнитивного доминирования в обществе делала его положение еще более непрочным, позволяя оппонентам использовать реальные и мнимые просчеты власти для ее дискредитации в глазах общества (как это продемонстрировано, например, в «деле Распутина», обвинениях в «измене» и росте «шпиономании»)⁹⁷. Эта быстрая смена настроений отражает последовательное погружение общества в революционный хаос, где индивид ощущает себя не столько участником, сколько жертвой фатальных социальных сил⁹⁸. В этих условиях реализовавшийся социальный выбор оказался наименее рациональным: констатация кризиса традиционного общества вела не к признанию необходимости постепенных реформ, но к принятию утопических лозунгов социальной республики, социализма и коммунизма. Их манипулятивные преимущества очевидны: целостная, но иллюзорная картина мира; соответствие представ-

⁸⁷ The Russian Revolution of 1905: Centenary Perspectives. L., 2005; Haimson L. Russia's Revolutionary Experience, 1905–1917: Two Essays. N.Y., 2005.

⁸⁸ 100-летие «Вех»: Интеллигенция и власть в России. 1909–2009. Круглый стол // Российская история. 2009. № 6.

⁸⁹ Медушевский А.Н. Политические технологии защиты общества от экстремизма: уроки революции // Революция 1905–1907 годов: взгляд через столетие: Материалы всероссийской научной конференции 19–20 сентября 2005 г. М., 2005.

⁹⁰ Social Identities in Revolutionary Russia. N.Y., 2001.

⁹¹ Halfn G. From Darkness to Light: Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000.

⁹² Kelly A. M. Toward Another Shore: Russian Thinkers between Necessity and Chance. New Haven, 1998.

⁹³ Morrissey S. Heralds of Revolution: Russian Students and the Mythologies of Radicalism. N.Y.; Oxford, 1998.

⁹⁴ Waldron P. The End of Imperial Russia, 1855–1997. Basingstoke, 1997; Longworth Ph. Russia's Empires: Their Rise and Fall: From Prehistory to Putin. L., 2005.

⁹⁵ Moon D. The Problem of Social Stability in Russia, 1598–1998 // Reinterpreting Russia. L., 1999. P. 54–74.

⁹⁶ Lohr E. Nationalizing the Russian Empire: The Campaign against Enemy Aliens during World War I. L.; Cambridge, 2003.

⁹⁷ Fuller W. C. The Foe Within: Fantasies of Treason and the End of Imperial Russia. Ithaca, 2006.

⁹⁸ Price M.Ph. Dispatches from Revolutionary Russia, 1915–1918. Durham, 1998.

лениям масс о социальной справедливости; связь идеологии с негативной социальной мобилизацией против системы российского Старого порядка.

Крушение монархии в ходе Февральской революции было воспринято «образованной» частью общества как завершение длительной борьбы в русском освободительном движении, породив характерный для всех революций феномен завышенной самооценки и революционных ожиданий. В оценках Февральской революции, дававшихся современниками, присутствуют все те представления, которые мы наблюдали в революциях Новейшего времени – антикоммунистических революциях в странах Восточной Европы 90-х годов XX в., «цветных революциях» на постсоветском пространстве или движениях так называемой «арабской весны» начала XXI в. (при всем содержательном отличии от «классических» социальных революций прошлого). В России периода Февральской революции воцарилась атмосфера эйфории («гигантская волна радости» – «было что-то необыкновенное»), ощущения великих событий («старое правительство свергнуто и настали радостные дни свободы»), сознание национального единства («войска и народ слились воедино»); удивление бескровным и мирным характером этой революции – «это единственная революция, прошедшая без крови и жертв» (в отличие от революций в Европе или революции 1905 г. в России). Характерно представление современников об отличии этой революции от других: «Французская революция в 1792–1793 году, – считали они, – создала гильотину, русская же – уничтожила ее». Наконец, представлен вывод, свидетельствующий о формировании системы завышенных ожиданий: «Россия избавилась от тиранов и стала свободной страной», «весь переворот произошел быстро и без кровопролития, как ни в одной культурной стране». В столичных толпах преобладали «радостные лица» – «страна сбросила тяжесть, которая душила ее столько лет»⁹⁹. Движение общественных ожиданий от их эскалации к упадку («разочарованию») – признак всех крупных социальных революций на завершающей стадии. Однако то, что интеллигенция восприняла как окончание революции, для традиционалистских слоев оказалось ее прологом (поскольку их социальные чаяния по уравнительному переделу земли, достижению мира и уничтожению «эксплуатации» оказались нереализованными).

Все эти представления, наивность которых поражает наблюдателей первой фазы всякой крупной революции, не отменяет скрытого, но реально присутствующего в ней «якобинского аргумента». Ровно через год картина общественных настроений оказывается диаметрально противоположной. В 1918–1919 гг. дореволюционная Россия воспринимается уже как «волшебная сказка»: где теперь прежняя живая общественная жизнь с ее радостными лицами, бойкой торговлей, роскошью нарядов, экипажами, рысаками и выставками. Их сменили «невыносимый холод», эпидемия самоубийств, «зверские нравы», дикая озлобленность населения, колонны арестованных, ведомых в чрезвычайку, нищета и карточки, а «впереди беспросветная мгла». Характерно сравнение коммунистической Москвы с той, которую оставил Наполеон после отступления¹⁰⁰. Эта смена настроений – четкое выражение психологической закономерности революции, отправной точкой которой служат завышенные ожидания, а завершением – абсолютное «разочарование» в идеалах революции.

Современная социология революции актуализирует их интерпретацию как спонтанного психологического срыва в обществе, связанного с преодолением когнитивного тупика – традиционалистской реакцией консервативного сознания, определявшейся феноменом относительной депривации в условиях роста завышенных ожиданий. Обращает на себя внимание сходство оценок ситуации как психологического феномена основными политическими силами, независимо от их идеологической программы. Конституционные демократы связывали логику рус-

⁹⁹ Первые дни свободы в Москве. Письменный экзамен за V класс учеников Московской консерватории о Февральской революции 1917 г. в Москве // Российский архив. М., 1991. Т. I. С. 191–204.

¹⁰⁰ Москва в ноябре 1919 года. Сочинения учащегося научно-популярного отделения Университета им. А. П. Шанявского // Российский архив. М., 1992. Т. II–III. С. 362–384.

ской революции и смену ее основных фаз именно с изменениями психологических установок массового сознания. Радикальные теоретики революционного переворота из среды эсеров и анархистов усматривали его движущую силу в психологическом импульсе массового сознания. Большевики разработали технологию использования этого недовольства для осуществления переворота. Для правых и умеренных партий революция есть деструктивная реакция неподготовленного аграрного общества на трудности аграрной модернизации, усугубленные войной и экстремистской агитацией. В основе конфликта, как признавали все, – историческая неискренность крестьянства, стоящего вне политики и связывающего свои социальные ожидания с идеей уравнительного перераспределения земли. Общая причина революции, следовательно, – это отсутствие полноценной гражданской нации, агрессивное неприятие «новизны» и повышенные социальные ожидания от реализации революционного мифа – утопического социального проекта.

Ключевое значение в когнитивном повороте начала революции справедливо отводится радикальной интеллигенции как носителю революционной идеологии и одновременно инструменту начала ее реализации. Это выражается в оценках данного феномена правыми деятелями: русская интеллигенция – «чудовищная гидра»¹⁰¹, которая «отравила себя революцией, опьянила сознание и затуманила мозг»¹⁰². Разворачивание спонтанного революционного процесса, однако, оказывается губительным для самой интеллигенции. Это ощущали даже те представители «народной интеллигенции», которые оказались перед неразрешимой дилеммой – следовать за темным народным потоком в его грубых проявлениях или выступить против них во имя защиты культуры. Они недоумевали: «что же остается, если интеллигенция и впрямь обречена висеть на фонарных столбах?»¹⁰³ Следствие спонтанной протестной динамики – утрата когнитивного доминирования умеренных, отстранение либеральных интеллектуалов от политического процесса. Социальная агрессия, ставшая результатом максимизации требований, выражалась в отказе масс от правовых форм преобразований; апелляции к террору как способу социального регулирования, утверждению программы левых («социалистических») партий, а затем – экстремистских политических сил (большевизма). Характерны ретроспективные оценки ситуации кадетами, которые признавали, что недооценили опасность – были «Гамлетами русской революции». «Русская интеллигенция, – резюмировал А. С. Изгоев, – понесла свою кару за нежелание и неумение организовать постепенный переход от абсолютизма к правовому строю. Камень скатился обратно к подножию горы. Интеллигенции, как Сизифу, надо снова вкатывать его наверх»¹⁰⁴.

В этом контексте принципиальное значение имеет вопрос о готовности политических партий России к самому факту революции, возможности его предвидения и прогнозирования стадий осуществления. Во-первых, все партии в канун революции ощущали ситуацию паралича власти и неизбежность ее падения. Правые партии в январе 1917 г. вынуждены были констатировать, что «песенка власти спета», а сама власть «парализована»¹⁰⁵. Распутин выразил эту мысль ранее и более лаконично: «как веревочку ни крути, а концу быть – мы давно у кончика» (это – о царе и созыве Думы в 1915 г.)¹⁰⁶. Либеральные партии доктринально исходили из того, что «безответственное правительство, вдохновляемое и направляемое темными силами,

¹⁰¹ Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 2. С. 212.

¹⁰² Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК 1905–1915 гг. М., 1996. Т. 1. С. 279.

¹⁰³ Трудовая народно-социалистическая партия. Документы и материалы. М., 2003. С. 115.

¹⁰⁴ Изгоев А. С. Рожденное в революционной смуте (1917–1932) // Труды по русистике. М., 2009. С. 359.

¹⁰⁵ Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 2. С. 619.

¹⁰⁶ Жуковская В. А. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине 1914–1916 гг. // Российский архив. 1992. Т. II–III. С. 291.

ведет страну к гибели»¹⁰⁷. Осознание надвигающейся катастрофы было характерно для всех партий центра и левого фланга.

Во-вторых, возможность предвидения революции оказалась крайне ограниченной. Если правые партии вообще не ставили этот вопрос, то либералы так и не смогли дать определенный ответ на него. Конституционные демократы, как показывают их дебаты в канун революции, в большинстве считали революцию маловероятной или невозможной в краткосрочной перспективе. В ЦК кадетской партии в 1914 г. активно дебатировался вопрос – «будет ли революция?». Ответы на него были даны ведущими мыслителями и практиками того времени. Одни констатировали, что категоричного ответа дать нельзя, хотя не исключен и положительный ответ (Н. В. Некрасов); другие считали, что «никаких данных для приближения революции нет» – «не чувствуется ни достаточной активности, ни смелости» (В. И. Вернадский) и «не видели в стране элементов революции», полагая, что «вообще реставрация гораздо вероятнее, чем революция» (Ф. И. Родичев), третьи думали, что в стране царит «бессмысленно-революционное настроение» (А. И. Шингарев) и поэтому вместо революции «не исключена возможность всяких пропониamento» (Д. И. Шаховский). Единственным представителем партии, сделавшим четкий прогноз о скорой революции, была женщина – А. В. Тыркова (ее, впрочем, называли единственным мужчиной в кадетском ЦК). Однако, суммируя дискуссию, лидер партии Милюков заявил, что «не ждет революции»¹⁰⁸. В 1916 г. кадеты констатировали: «для революции даже лозунгов у нас нет, нет и программы, – вообще это не наш метод борьбы» (А. А. Корнилов)¹⁰⁹. Радикальные партии оказались застигнуты революцией врасплох. Характерно признание эсеров: «Революция ударила как гром с неба и застала врасплох не только правительство, Думу и существовавшие общественные организации. Будем откровенны – она явилась великой и радостной неожиданностью и для нас, революционеров, работающих на нее долгие годы и ждавших ее всегда». Вообще «никто не предчувствовал в этом движении веяния грядущей революции»¹¹⁰. Бунд честно признавал: «мы не можем предсказать момент наступления революции», а потому «нельзя приспособить организационные формы к революционному моменту»¹¹¹. Известно признание Ленина, сделанное в Швейцарии, о невозможности революции в России в краткосрочной перспективе. Он даже не рассчитывал дожить до революции, но полагал, что это удастся молодому поколению¹¹². Принципиален вывод: ни одна из политических партий России не оказалась способна прогнозировать точные сроки наступления революции. Ретроспективные оценки Февральской революции не опровергают этого общего вывода, независимо от того, считают ли ее результатом спонтанного социального взрыва или следствием готовящегося переворота¹¹³.

Это подтверждает вывод о спонтанности революционного взрыва, мотивированного неустойчивым состоянием массовой психики, неготовность основных политических партий и их лидеров рационально управлять им показывает ограниченную объясняющую силу всех «теорий» революции, фигурировавших в русской политической мысли.

¹⁰⁷ Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. Документы и материалы 1906–1916 гг. М., 2002. С. 392–394.

¹⁰⁸ Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии. М., 1997. Т. 2. С. 260–261, 268, 270–275.

¹⁰⁹ Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии. М., 1998. Т. 3 (1915–1920). С. 297.

¹¹⁰ Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. М., 2000. Т. 3. Ч. 1 (февраль – октябрь 1917 г.). С. 24.

¹¹¹ Бунд. Документы и материалы. 1894–1921. М., 2010. С. 418.

¹¹² Ленин В.И. ПСС. Т. 30. С. 328.

¹¹³ Катков Г. М. Февральская революция. М., 2006.

4. Фазы революционного цикла как выражение форм когнитивного доминирования

Понятие революционного цикла в принципе означает смену фаз революционного процесса, которая, начавшись с отрицания Старого порядка, заканчивается его формальной реставрацией. Каждая из фаз воплощает доминирование определенной социальной силы и выдвигаемой ею программы разрешения социального кризиса. Этот вывод вполне подтверждался классической историографией на материале Английской и Французской революций, отчасти европейской революции 1848 г., где четко представлены этапы правления традиционной аристократии, умеренных и радикалов, последующий переход к стабильности в виде военных диктатур (Монка и Бонапарта) с последующим восстановлением монархии. Этот подход доминировал в трудах тех западных ученых, которые были наиболее популярны в России – Гизо, Тьера, Токивиля, Сореля и особенно А. Олара¹¹⁴. В русской литературе о европейских революциях, в трудах А. Д. Градовского, М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева, Э. Д. Гримма и др.¹¹⁵ доминировало представление о демократическом социальном содержании революций Нового времени и неизбежности их завершения переходом к гражданскому обществу и правовому государству; революционный террор воспринимался как искривление магистральной линии, а реставрационная фаза – как временное отступление от этого идеала. Данная траектория четко представлена в названии труда Ковалевского – «От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму»¹¹⁶. Главная проблема усматривалась в своевременном ограничении деструктивных тенденций – недопущении или минимизации радикальной (якобинской) фазы, способной отодвинуть эту цель во времени, но не отменить ее. Срыв революции к террору интерпретировался как крушение ее проекта в Европе и причина установления диктатуры – деформация, ведущая к Термидору и Реставрации, которых в принципе следовало избежать в русской революции¹¹⁷. Для русских последователей Маркса, Каутского, Жореса¹¹⁸ и других социалистических историков Французской революции¹¹⁹ конструкция циклов революционного процесса в целом была сходной, но включала приоритетное внимание к радикальной якобинской фазе, в которой усматривалась не столько девиация, сколько норма всякой радикальной демократической трансформации.

Вопрос о том, может ли русская революция завершиться иначе, чем европейские революции, практически не рассматривался. Но именно он стал центральным для XX в., когда выяснилась невозможность создания единой схемы революции. Революции, как стало ясно, не обязательно имеют целью создание правового демократического общества, но могут вести к его разрушению (что показала русская революция); поднять массы на разрушение существующего строя оказалось возможным не только под классовыми лозунгами социального протеста, но также под лозунгами национализма, этнической или конфессиональной идентичности, суверенитета и обретения независимости (так называемые колониальные революции); революции могут осуществляться не рациональными, а вполне иррациональными силами (как, например,

¹¹⁴ Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789–1804). М., 1902.

¹¹⁵ Ковалевский М. М. Происхождение современной демократии. М., 1895. Т. 1–2; Гримм Э. Д. Революция 1848 года во Франции. СПб., 1908. Ч. 1–2; Кареев Н. И. Великая французская революция. М., 1918; Он же. Отчего кончилась неудачей европейская революция 1848 г. Пг., 1917.

¹¹⁶ Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму. СПб., 1906. Т. 1–3.

¹¹⁷ Кареев Н. И. Историки Французской революции. Л., 1924.

¹¹⁸ Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. М., 1977–1983. Т. 1–6.

¹¹⁹ Кунов Г. Борьба классов и партий в Великой французской революции 1789–1794 гг. М.; Пг., 1923.

исламские революции); политическим содержанием революций могут стать не обязательно уравнилельно-распределительные принципы всеобщего равенства, но противоположные им принципы (как показывают антикоммунистические революции 90-х годов XX в. в Восточной Европе, направленные на восстановление «капитализма» и индивидуализма); движение революционного процесса не обязательно идет от столичного центра к периферии (как было во Франции и России), но может, напротив, развиваться на периферии (как это было в китайской и мексиканской революциях) с последующим движением к городам и столичным центрам; движущие силы этих революций вовсе не обязательно представлены «рабочим классом», но могут включать самые различные элементы – от маргинализованного крестьянства (в так называемых «аграрных» революциях) до солдат и студентов; революционный переворот может быть единовременным или растянутым во времени, а формы его проведения могут включать как кровавые насильственные методы подавления оппонентов, так и вполне бескровные и мирные акции социального давления на власть (в виде различных «цветных революций» Новейшего времени); руководство революционными изменениями могут брать на себя не партии, но лидеры национальных движений, профсоюзов, духовенства, армии; общим результатом революций может стать не гражданское равенство и утверждение принципа правового равенства, но напротив – создание новых, более жестких форм господства (фашистские движения); наконец, следствием революций может стать не правовое конституционное государство, а распад государства или различные варианты авторитаризма (от тоталитарных до традиционалистских патерналистских режимов в развивающихся странах). Еще большее количество вариантов возникает с учетом глобальной ситуации – влияния на революционные процессы доминирующих идеологий (или их комбинаций) ведущих держав и уровня средств коммуникаций и подавления. На исходе XX в. это привело к отказу от принятия единой теории революции и приоритетному вниманию к социологическому и сравнительному конструированию многофакторных моделей революционных процессов¹²⁰. Этот исторический опыт XX в. не мог быть учтен современниками русской революции, его предстояло осмыслить только в дальнейшем.

Следует признать как историческую данность, что концепция, типология и схема периодизации революций, господствовавшие в академических кругах и общественном сознании России начала XX в., стали главным когнитивным фактором, определившим установки и группировку основных политических сил в отношении социального конфликта. Из этого подхода вытекал анализ фаз возможной русской революции. Схема революции оставалась неизменной, обсуждалась лишь специфика фаз ее осуществления, их социального содержания и возможной продолжительности. В рамках когнитивного подхода целесообразно говорить, однако, не столько о смене социальных групп у власти, сколько – форм когнитивного доминирования определенных политических стереотипов в массовом сознании. Подчеркнем, что соответствующие группы революционных элит четко моделировали свое поведение по образцу их исторических предшественников. Миф Французской революции был многим обязан мифу Американской революции и его пропаганде¹²¹. Сочинения Пейна, Джефферсона и Франклина знаменовали консолидацию мессианского идеализма, революционного символа веры, причем миф об Американской революции приобрел определенную форму во Франции еще задолго до того, как сами Соединенные Штаты приобрели устойчивую политическую форму, и оказал гораздо большее воздействие на общественную мысль Франции, чем сама эта форма¹²². Английская революция середины XVII в. и сравнение Кромвеля, Вашингтона и Наполеона служили в Европе для обоснования различных стратегий социальных преобразований – как

¹²⁰ *Furet F.* Penser la Révolution Française. Paris, 1978; *Kimmel M. S.* Revolution. A Sociological Interpretation. L., 1990; *Krejci J.* Great Revolutions Compared. The Outline of a Theory. L., 1994.

¹²¹ *Davidson Ph.* Propaganda and the American Revolution 1763–1783. Chapel Hill, 1941.

¹²² *Дойсон К. Г.* Боги революции. СПб., 2002. С. 129.

революционных, так и либеральных¹²³. Миф Французской революции в свою очередь получил в Европе наиболее четкое идеологическое, интеллектуальное и символическое выражение¹²⁴ и сыграл в мировой истории даже более деструктивную роль, чем сама революция¹²⁵, поскольку создал схему интерпретации социального конфликта, использованную затем революционерами всех стран. Резкая критика революционной утопии и невозможности ее реализации, начиная с Э. Бёрка¹²⁶, представленная трудами Шатобриана и Токвиля, находилась на периферии общественного внимания русского либерализма кануна революций, обращение к ним начинается в постреволюционную эпоху. После всех европейских революций начала XX в. эта борьба идей привела к определенному выводу К. Шмитта: «Не существует нормы, которая была бы применима к хаосу. Должен быть установлен порядок, чтобы имел смысл правопорядок. Должна быть создана нормальная ситуация, и сувереном является тот, кто недвусмысленно решает, господствует ли действительно это нормальное состояние»¹²⁷. Однако революционное сознание – это романтическое сознание, которое живет мифами. Если английские пуритане апеллировали к религиозным догмам и символам, а французские революционеры, по выражению Маркса, рядились в одежды римских героев, то русские – копировали поведение деятелей Французской революции, даже если не делали этого по рациональным причинам, то стремились имитировать соответствующие формы и фразеологию для легитимации своего доминирующего положения и массовой мобилизации¹²⁸. Проблема заключается в том, чтобы понять причину воспроизводства и смены этих фаз когнитивного доминирования, длительности их существования.

В рамках анализируемых документов российских политических партий революционного периода можно констатировать определенное единство интерпретационных подходов. Все русские политические партии, во-первых, исходили в той или иной степени из модели цикла Французской революции; во-вторых, пытались найти аналог соответствующих стадий русской революции с французскими (или европейскими) прототипами; в-третьих, прямо или косвенно отождествляли себя с соответствующими политическими партиями (монархистами, фельянами, жирондистами, якобинцами, эбертистами). Впоследствии эти обозначения использовались уже левыми историками Французской революции для выяснения сходства двух революций, например, сравнения большевиков с якобинцами, а Ленина с Робеспьером¹²⁹. Для марксистской историографии подобные сравнения оказывались возможны с позиций «классовой» теории революции¹³⁰. Исходя из этого, партиями выстраивался общий анализ революционного процесса и прогнозировался вектор возможных изменений, осуществлялся поиск собственной политической идентичности¹³¹. Более того, политические партии учитывали логику смены фаз когнитивного доминирования в выстраивании своей практической политики, используя соответствующие методы и терминологию для сохранения господства.

В целом использование модели французского революционного цикла, позволяя типологизировать стадии революционного процесса, на практике скорее вводило в заблуждение: прогнозы о последовательности смены фаз революции, делавшиеся в ходе событий, оказались несостоятельны, господство экстремизма (несмотря на различие его этапов) оказалось

¹²³ Гизо Ф. История английской революции. СПб., 1859.

¹²⁴ Dictionnaire Critique de la Révolution Française. Sous la direction de F. Furet et M. Ozouf. P., 1992. Vol. 1–4.

¹²⁵ Gerard A. La révolution Française. Muthes et interprétation (1789–1970). P., 1970. P. 53.

¹²⁶ Burke E. Reflections on the Revolution in France // The Writings and Speeches of Edmund Burke. Vol. VIII (The French Revolution, 1790–1794). Oxford, 1989.

¹²⁷ Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 26.

¹²⁸ Ср.: Kenz P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929. Cambridge, 1985.

¹²⁹ Собыль А. Первая республика. 1792–1804. М., 1974; Матвеев А. Французская революция. Ростов на Дону, 1995.

¹³⁰ Литература вопроса: Ревуненков В. Г. Марксизм и проблема якобинской диктатуры. Л., 1966.

¹³¹ Черский Е. Таблица русских политических партий. М., 1918; Вардин И. Политические партии и русская революция. М., 1922.

гораздо более продолжительно, а фаза Реставрации (в ее классическом понимании как возвращения монархии) так и не наступила. Большевики, следуя схеме Французской революции (на фазе якобинской диктатуры) сознательно пошли на ее ревизию – лжетермидор (известный как НЭП). Это была когнитивная ловушка, в которую попали те либеральные критики режима, которые, как Н. Устрялов, решили, что Термидор наконец состоялся¹³². Не стал реальностью и бонапартистский метод выхода из революции в ходе ее развития и последующих модификаций режима. Бонапартистская альтернатива однопартийной диктатуре не состоялась не потому, что она была теоретически невозможна (целесообразность такого переворота стала общим местом постреволюционных дискуссий)¹³³, но прежде всего в силу очевидности этой угрозы для режима в контексте уроков Французской революции и превентивного устранения режимом всех потенциальных кандидатов в Бонапарты – от Корнилова и Колчака до Троцкого, Тухачевского и Г. К. Жукова¹³⁴. Русская революция развивалась и завершилась совсем не так, как прогнозировали современники – от ярых противников большевизма до его последовательных сторонников. Причина этого – в неадекватном понимании большевизма его политическими оппонентами.

В интерпретации социальных функций большевизма российскими политическими партиями прослеживается три устойчивых направления. Во-первых, большевизм первоначально (в условиях Октябрьского переворота 1917 г. и Гражданской войны) предстает как выражение русского традиционализма – анархического крестьянско-солдатского бунта в стиле пугачевщины или более рафинированных ее форм (анархизм или нечаевско-бабёфовская программа). Во-вторых, прослеживается постоянное проведение аналогии между большевизмом и якобинством с несостоятельным прогнозом о Термидоре и крушении революции (меньшевики, эсеры и другие левые партии в период Кронштадтского восстания). В-третьих, представлена интерпретация большевизма как бонапартизма или фашизма (в период НЭП). Эта линия интерпретации, выдвинутая либеральными критиками, доминировала затем в отношении сталинизма (и представлена в том числе в троцкистской его интерпретации как «бюрократического перерождения» революционной власти). Все три теории оказались несостоятельны: тезису о традиционализме противостояла большевистская программа массовой мобилизации и модернизации; тезису о якобинстве – отсутствие термидорианского перерождения (как возвращения к буржуазному строю); тезису о бонапартизме – нереализованность коммунистическим режимом его гражданско-правовой программы (национализм и защита частной собственности) и политических форм (военная диктатура).

Трудность решения проблемы большевизма (завуалированная дебатами о «советской демократии») – сплав в нем традиционализма и модернизации; невиданные масштабы социальной мобилизации и массового террора; сочетание устойчивых идеологических приоритетов и предельно прагматического использования тактических средств, взятых из инструментария различных авторитарных режимов. Все эти особенности выражены в сформировавшейся позднее концепции тоталитаризма, которая также проделала существенную эволюцию¹³⁵. Когнитивное доминирование экстремизма – при всех изменениях коммунистического правления – выражало психологическую адаптацию большевистского режима в меняющейся социальной среде – от периода Гражданской войны¹³⁶ до консолидации однопартийного мобилизационного режима и милитаризованной экономики¹³⁷. Длительность существования коммунистического

¹³² Устрялов Н. Под знаком революции. Л., 1925.

¹³³ Об этих настроениях см.: Терне А. В царстве Ленина. Очерки современной жизни в РСФСР. Берлин, 1922.

¹³⁴ Медушевский А. Н. Русский бонапартизм как предмет сравнительного изучения // Труды Института российской истории. М., 2004. Вып. 4.

¹³⁵ Totalitarismus in 20. Jahrhundert: Eine Bilanz der internationale Forschung. Baden-Baden, 1996.

¹³⁶ Swain G. The Origins of the Russian Civil War. L.; N.Y., 1996.

¹³⁷ Gaddy C. G. The Price of Past: Russia's Struggle with the Legacy of Militarised Economy. Washington, 1996.

режима отодвигала проблему Реставрации как окончательной стадии политической трансформации, стимулируя размышления о завершающей фазе русской революции.

Суть концепции Реставрации, как она была сформулирована в европейской литературе (особенно Шатобрианом, Де Местром и Токвилем), – в том, чтобы преодолеть революцию, взяв ее достижения и отказавшись от ее деструктивных методов¹³⁸. Традиционная трактовка Реставрации предполагала возвращение к нормам и институтам Старого порядка с целью преодоления революционного кризиса. Русская революция, вопреки многочисленным прогнозам, не получила завершения в формальной реставрации дореволюционных порядков как восстановления правовой и политической преемственности, несмотря на постоянное присутствие монархической альтернативы. Вопрос о соотношении республики и монархии, актуальный в период Учредительного собрания и Гражданской войны, оказался снят установлением и длительным господством однопартийной диктатуры. Но анализ стратегий реставрационного выхода из кризиса, предложенный в партийных программах, сохраняет не только научное, но и практическое значение для постсоветского развития.

В период революции представлено три концепции Реставрации.

1. Свержение большевизма силовым путем в результате победы правых в ходе Гражданской войны и установления временной диктатуры, создающей предпосылки для правового строя – созыва Конституанты.

2. Теория внутреннего перерождения большевизма и принятия частью его представителей реставрационной программы (концепция Термидора). 3. Отстранение большевиков от власти в результате новой революции или военного переворота. В реальности первый вариант не реализовался фактически; второй – реализовался частично (если иметь в виду последующую бюрократизацию советского режима, уничтожение ленинской гвардии в период сталинизма и отказ от идеи «мировой революции»); третий получил практическую реализацию только в условиях демократической революции (или переворота) 1991–1993 гг. В постсоветский период оказались доминирующими те подходы, которые были представлены русским либерализмом: создание гражданской нации; движение в направлении гражданского общества и правового государства; юридическое признание частной собственности (в том числе – на землю); конституционная, федеративная, судебная и административная реформы, возможное сохранение авторитарного режима на переходный период¹³⁹.

Острота современной дискуссии о постсоветской реконструкции общества с учетом исторической длительности коммунистической диктатуры объясняется необходимостью ответить на вопрос, что является объектом реставрации: восстановление досоветских, советских порядков или некоторого их гибрида. На деле присутствует психологическая амальгама двух подходов, восходящих к дискуссиям периода Учредительного собрания и выражающая сохранение когнитивного диссонанса в современном обществе. Корень разногласий – в различии интерпретаций большевистского режима – причин появления, форм консолидации власти и длительности коммунистического эксперимента. Программа постреволюционной стабилизации, разработанная в рамках конституционного либерализма, и выдвинутые им приоритеты реформ делают решение проблемы вполне актуальным.

¹³⁸ Предсказание Реставрации во Франции было дано Де Местром: *Maistre J.de. Considérations sur la France. Essai sur le Principe générateur des Constitutions politiques. Préface du Comte B. de Vesins. Paris, 1907. P. 95.*

¹³⁹ Эти позиции представлены в кн.: Всероссийский национальный центр. М., 2001.

5. Причины крушения российского Старого порядка: социологические схемы русской революции

Ретроспективные попытки создать «научную» теорию крушения самодержавия и интерпретировать революцию как закономерное следствие действия универсальных социальных законов определялись доминировавшими социологическими подходами. Концепции революции, выдвигавшиеся современниками, укладываются в господствующие социологические теории того времени: 1) позитивистскую теорию факторов (совокупное воздействие экономических, социальных и политических факторов); 2) марксистскую «классовую» теорию (революция как следствие «объективных» классовых противоречий); 3) различные бихевиористские концепции (изменение массового поведения под воздействием меняющейся социальной действительности); 4) теорию «заговора»; 5) сведение причин революции к элементарному крушению государственности («Смута») или 6) сочетанию уникальных исторических обстоятельств и роли «великих людей». Наконец, 7) представлены подходы, опирающиеся на квазитеологические и религиозные объяснения либо объяснения, связанные с моральной деградацией общества (в стиле Н. Бердяева и А. Солженицина). Последующая историография добавила к ним теорию модернизации и ее срывов в традиционном обществе.

Основные социологические схемы русской революции – системная теория, структурная теория (классового конфликта) и бихевиористская теория – были предложены современниками и получили развитие в последующей историографии. Системная теория (А. А. Богданова) видит в революции частный случай проявления универсальной тектологической закономерности – процессов интеграции и дезинтеграции социальных систем, связанных с изменением внешнего окружения, сопровождающихся качественным изменением форм и внутренних границ структурных элементов. Революции в обществе представляют «разрыв социальной границы» наподобие физических процессов (кипение воды – разрыв физической границы между жидкостью и атмосферой) или биологических (смерть – разрыв жизненной связи организма)¹⁴⁰. Вклад данной теории определяется возможностями анализа распада старых социальных форм (их «дезинтеграции»), но не объясняет механизмов создания новых и их правового выражения.

Структурная (классовая) теория усматривает логику революционного процесса в смене борющихся социальных сил, доминирующих на разных этапах кризиса. Эта смена моделируется на основе классических европейских революций Нового времени. «Буржуазно-демократическая революция, как процесс, – полагал Н. Рожков, – складывается из четырех основных моментов: первый из них – подготовка революции, второй – первый бурный ее момент, третий – реакция, четвертый – вторая революция или заменяющие ее войны. В некоторых революциях между вторым и третьим моментами имеет место еще военная или цезаристская диктатура»¹⁴¹. Данная схема, однако, плохо объясняла русскую революцию, в частности, не давала ответа на вопрос, почему революция началась именно в данный момент, а переход из второй фазы в четвертую занял столь короткий исторический промежуток времени и не сопровождался проявлением цезаризма. Объяснение этого факта пытался дать М. Н. Покровский: почему, спрашивал он, революция 1905 г. потерпела поражение, а революция 1917 г. не смогла быть остановлена самодержавием? Отвечая на него, он видит причину этого в непреодолимом расколе «империалистических верхов» в последнем случае и их неспособности к достижению согласия в условиях мировой войны. Успех революции в России 1917 г. стал возможен благодаря острому конфликту двух типов национального капитала – промышленного и торгового, достигшему

¹⁴⁰ Богданов А. Всеобщая организационная наука (Тектология). М.: Л., 1925. Ч. 1–2. С. 113.

¹⁴¹ Рожков Н. Русская история в сравнительно-историческом освещении (Основы социальной динамики). М.: Пб., 1923. Т. VIII (Демократическая революция в Западной Европе). С. 256.

кульминации именно в период империалистической войны. Фактически имел место раскол правящей элиты, приведший к параличу власти в критический период революции¹⁴². Данная модификация классовой схемы, не говоря о ее фактической спорности, не решала проблемы, сводя дело к особенностям расстановки сил внутри правящих групп. Л. Крицман видел объяснение специфики русского революционного процесса в сочетании в нем нескольких типов революции, которые обычно разворачиваются автономно – антикапиталистической, аграрной и отчасти колониальной революций. Именуя данный тип «сложной революцией», он одним из первых попытался дать политологический анализ «механизма революции», который раскрывается им в динамике пяти фаз реализации разрушительных и созидательных функций революционного переворота. После этого «революция, победив и сделав свое дело, умирает»¹⁴³. Тезис о «смерти революции», являясь еретическим для марксизма, понятен в связи с противопоставлением циклической модели – концепции «перманентной революции» Л. Троцкого. Он основывался на оригинальном (но недоказанном) предположении о соотношении революционного класса и диктатуры в ходе революционного переворота.

Бихевиористская теория революции (П. А. Сорокин) видит ее смысл в психологических факторах – столкновении подавленного рефлексивного поведения масс и его репрессивного подавления. Непосредственной причиной революции становится всегда ответ большей части общества на рост подавления основных инстинктов – «невозможность обеспечения необходимого минимума удовлетворения этих инстинктов»¹⁴⁴. Эта теория (получившая затем широкое распространение в историографии) видит механизм возникновения революций в социальной психологии. Эта теория очень близка всем тем концепциям в криминологии, которые связывали преступность с социальной средой и невозможностью для потенциального преступника немедленно удовлетворить свои социальные ожидания. Но она не объясняет, почему при спонтанном развитии событий существует повторяемость форм и результатов. Кроме того, она не позволяет провести разграничение между революцией и простым бунтом, восстанием, смутой, чисто криминальными акциями¹⁴⁵, поскольку эта граница определяется не субъективной оценкой того или другого историка, но устанавливается объективной длительностью событий, количеством втянутых в революцию лиц и социальными корнями событий.

Комбинированный подход включает все рассмотренные ранее позиции и предполагает выявление связи системных, структурных (классовых) и поведенческих установок. «Революция, – суммировал А. М. Ону, – есть судорога общественной жизни, акт конвульсивный, насильственный, вызванный нетерпением, нежеланием ждать, что все само собою образуется, раздражением и верою в непрочность того порядка, который люди, прежде молча терпевшие, решили ниспровергнуть насильственным путем»¹⁴⁶.

В историографии XX в., начиная с классических трудов Э. Х. Карра¹⁴⁷, доминирует системный и структурно-функциональный подход, а оценки (как правило, противоположные) в принципе опираются на сходную методологию анализа. Модель, закрепившаяся в западной науке XX в. уже к 50-летию революции, выражает состояние исторического сознания послевоенной эпохи – государства всеобщего благоденствия, – воспроизводя теоретические клише линейной концепции истории, европоцентризма и нарративизма. Этот подход, безусловно, много дал для сравнительных исследований. Если всякая революция, справедливо говорил

¹⁴² Покровский М. Н. Очерки русского революционного движения XIX–XX вв. М., 1924.

¹⁴³ Крицман Л. Героический период великой русской революции (опыт анализа военного коммунизма). М.; Л., 1926. С. 26.

¹⁴⁴ Sorokin P. A. The Sociology of Revolution. London, 1924. P. 367; *Он же*. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992.

¹⁴⁵ Сводку этих теорий см.: Криминология XX век. СПб.: Юридический центр Пресс, 2000; Криминология / Под ред. Дж. Ф. Шели. СПб.: Питер, 2003; Криминология. М., 2005; Медушевский А. Н. Социология права. М., 2006. Гл. 3.

¹⁴⁶ Ону А. М. Социологическая природа революции // Сборник статей, посвященных Павлу Николаевичу Милокову, 1859–1929. Прага, 1929. С. 32.

¹⁴⁷ Карр Э. Х. Большевицкая революция. 1917–1923. М., 1990. Т. 1–2.

А. Тойнби, историческая «ненормальность», то это не значит, что она не имеет своей внутренней логики. Реконструкция этой логики предполагает выяснение повторяемости революций, их периодичности, среднего времени протекания и, наконец, соотношения фаз революции и реставрации. Русская революция, подобно Французской, также может интерпретироваться по этим параметрам¹⁴⁸.

Выражением этих представлений стала известная теория модернизации, исходящая из предположения о том, что все страны имеют в принципе сходную логику развития, но одни проходят соответствующие стадии раньше или быстрее других. Это открывает возможность оценить перспективы любой политической системы в критериях предшествующих, вычислив перспективные тенденции линейного развития и даже реализовав «преимущества отсталости» (т. е. возможность выбора из тех моделей развития, которые представлены опытом стран, ранее столкнувшихся со сходными дилеммами). Направления сравнительных исследований и шкала оценок поэтому целиком определялись заданным идеальным типом – конструкцией европейского общества Нового и Новейшего времени (конструкции, обязанной прежде всего Французской и другими европейскими революциями). Эта модель схематично усматривает в русской революции неудачную копию Французской и, как правило, отказывает ей в исторической оригинальности, точнее, допускает ее в отклонениях от эталона¹⁴⁹. Причины срыва русской революции в диктатуру, исходя из этого, коренятся скорее в национальной исторической традиции, чем принятии ошибочных институциональных решений¹⁵⁰.

В советской историографии на все поставленные вопросы давались вполне определенные и безапелляционные ответы – в пользу революционного выбора и его исторически реализовавшейся модели. Однако за все время существования этой историографии не было предложено *ни одного* действительно нового концептуального объяснения революции, выходящего за рамки теорий эпохи самой революции или западных концепций¹⁵¹. Советская историография революции возникла, существовала и рухнула вместе с режимом, который она обслуживала. Характерно подведение итогов деятельности этой историографии к 70-летию революции. Историк П. В. Волобуев, констатируя в условиях перестройки распространение в обществе «неверных представлений о нашей революции», попросил коллег дать ответы на следующие принципиальные вопросы: «Была ли Октябрьская революция закономерной и не совершили ли большевики насилия над историей, повернув преждевременно развитие России с “нормального” буржуазно-демократического пути на путь неведомый – социалистический? Не оказалась ли наша революция неудачным социалистическим экспериментом, затеянным в 1917 г. группой фанатиков? Возможен ли был тогда, в 1917 г., не революционный, а реформистский выход из кризиса российского общества? Почему утвердилась в нашей стране однопартийная система? И, наконец, не послужила ли Октябрьская революция той самой “черной дырой”, через которую наша страна прямоком скатилась к сталинизму?»¹⁵²

На них он получил вполне ожидаемые ответы. Одни решительно отстаивали догму: «Искателям такой альтернативы не приходит в голову, что Октябрь был путем спасения России. Он был неизбежен и необходим. Ему не было альтернативы» (И. И. Минц). Другие, отмечая существование «многочисленных серьезных недостатков», отказывались принять «распро-

¹⁴⁸ *Toynbee A. Looking Back // The Impact of the Russian Revolution. 1917–1967. The Influence of Bolshevism on the World outside Russia. London, N.Y., 1967. P. 1–7.*

¹⁴⁹ *The Soviet Union. The Fifty Years. Ed. By H. Salisbury. N.Y., 1967; Marxism, Communism and Western Society. A Comparative Encyclopedia. N.Y., 1973. Vol. 7; The Russian Revolution and the Soviet State. 1917–1921. Documents. Selected and Edited by Mc Cauley. L., 1975; Brown D. Doomsday 1917. The Destruction of the Russian Ruling Class. L., 1975.*

¹⁵⁰ *Пайнс Р. Русская революция. М., 1994. Ч. 1–2.*

¹⁵¹ *Городецкий Е. Н. Советская историография Великого Октября 1917 – середина 30-х годов. М., 1981.*

¹⁵² *Россия 1917 год: выбор исторического пути (Круглый стол историков Октября 22–23 октября 1988 г.) / Отв. ред. член-корр. АН СССР П. В. Волобуева. М., 1989. С. 13.*

страненное мнение, будто бы вся литература по истории Октябрьской революции «ненаучна», «фальсифицирует историю» (Е. Г. Гимпельсон), третьи честно признали банкротство своего цеха: «Мы, историки Октябрьской революции, утратили авторитет у читателей», которые «потеряли интерес к нашим трудам», «а, впрочем, и друг друга-то не очень читали: заранее знали, чего можно ждать» (Г. З. Иоффе). Все обсуждение завершилось призывами «перестать фальсифицировать историю», ибо «только правдой мы сумеем защитить и отстоять Октябрь»¹⁵³. Эти призывы оказались малопродуктивными: как показывает состояние умов представителей современной академической науки, не вышедших за рамки традиционных схем, они продолжают рассматривать логику революции с позиций фатализма¹⁵⁴, подчеркивая безальтернативность большевистского переворота и коммунистической диктатуры¹⁵⁵. Эти люди, столь долго носившие идеологическую «ослиную шкуру», не заметили, как она приросла к ним. Все попытки преодоления этих догматических представлений на современном этапе продолжают встречать удивительно агрессивную реакцию¹⁵⁶.

Отказ от этих идей в эпоху крушения коммунизма и распада СССР привел к механическому воспроизводству теоретических представлений контрреволюционного движения и русской эмиграции, усматривавших в русской революции начала XX в. новую Смуту, процесс распада государственности, аналогичный тому, который имел место в истории страны начала XVII в. и связывался прежде всего с моральной деградацией общества – отказом от системообразующих религиозных и социальных устоев¹⁵⁷. Интерпретация революции как Смуты получила распространение в литературе периода крушения СССР, которое само представало ее новой разновидностью и воплощением¹⁵⁸. Это направление, многим обязанное теориям евразийской школы в эмигрантской историографии, позволяло аккумулировать некоторые особенности системных кризисов в русской истории, отразить их отличия от западных моделей (Французской революции), связанные с деструктивными насильственными формами протеста архаичных масс против организационных основ современной цивилизации, но также страдало своеобразным европоцентризмом «наоборот». Принятие тезиса об уникальности русской революции и ее несходстве с западными сопровождалось игнорированием сходных процессов в традиционных обществах за пределами Европы, а главное – не предлагало четкого понятийного аппарата и инструментария для доказательных сравнительных исследований.

Суммируем результаты осмысления русской революции в историографии XX в. Это, во-первых, признание общего переломного значения революции для судеб мира в XX в. независимо от идеологических пристрастий исследователей; во-вторых, констатация фактического влияния революции и созданного ею государства на социальные процессы, раскол мира на два общества, основанных на взаимно антагонистических принципах; в-третьих, принятие факта влияния мифа русской революции на последующие революционные перемены в разных частях мира; в-четвертых, общее понимание особенностей той модели политической системы, которая была создана в результате большевистского переворота; в-пятых, осознание общего деструктивного характера данного социального эксперимента.

Все рассмотренные теории, во-первых, не являются взаимоисключающими; во-вторых, не объясняют логики революционного процесса на доказательном уровне; в-третьих, не дают ответа на вопрос о том, почему революция произошла именно в 1917 г. и могла ли разви-

¹⁵³ Россия 1917 год: выбор исторического пути (Круглый стол историков Октября 22–23 октября 1988 г.) / Отв. ред. член-корр. АН СССР П. В. Волобуева. М., 1989. С. 31–39.

¹⁵⁴ К 90-летию Февральской революции в России: Круглый стол // Отечественная история. 2007. № 6.

¹⁵⁵ Октябрьская революция и разгон Учредительного собрания: Круглый стол // Отечественная история. 2007. № 6.

¹⁵⁶ Медушевский А. Н. Мои бои за историю. Как я был главным редактором журнала «Российская история» // Вестник Европы. 2012. Т. 33. С. 147–159.

¹⁵⁷ Солженицын А. Размышления над Февральской революцией. М., 2007.

¹⁵⁸ Булдаков В. Красная Смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010.

ваться иначе; в-четвертых, не раскрывают механизмов взаимосвязи и меняющегося соотношения формальных правовых институтов и процессов социальной мобилизации на разных этапах революционного эксперимента; в-пятых, не предлагают убедительной системы универсальных социологических понятий, необходимых для доказательного сравнительного анализа революционных процессов. Если социологические схемы науки XX в. о «закономерности» русской революции хоть в чем-то справедливы, то оправдан целый ряд «неудобных» вопросов: почему большевистская революция не только состоялась, но смогла создать идеологию и политическую систему, принципиально отличавшуюся от известных западных моделей как способами поддержания контроля, так и результатами эксперимента? Почему столь неэффективная и социально деструктивная система оказалась способна заложить идеологические принципы, господствовавшие едва ли не над половиной человечества в течение почти столетия? Почему она не была сметена ранее под воздействием более справедливых и эффективных моделей общественного устройства? Наконец, почему советский режим рухнул не в результате внешних кризисов и войн (как большинство слабых режимов в истории), но едва ли не на пике своего политического и военного могущества? Объяснялось ли его падение имманентно присущими системе противоречиями или случайными факторами?

6. Русская революция в контексте концепции переходных процессов

Теория переходов от авторитаризма к демократии стала одной из центральных в сравнительном конституционном праве и политической науке в конце XX и начале XXI в. Ее появление связано с необходимостью обобщить значительный эмпирический материал, вызванный к жизни процессами демократизации, последовательно охватившими в 1970–1980-е годы Южную Европу, затем в 1990-е годы Восточную Европу, Азию и Латинскую Америку, отчасти страны Африки, сопоставить эти процессы с предшествующими волнами демократизации. Было создано особое направление исследований (так называемая «транзитология»), стремившихся моделировать переходные ситуации от диктатуры к демократии и найти четкие формулы управления этими процессами¹⁵⁹. Февральская революция 1917 г. естественно выступает как их основа и исходный пункт данных процессов в европейской и всемирной истории XX в.

Три волны демократических (конституционных) преобразований в странах Центральной и Восточной Европы были связаны с мировыми войнами и геополитическими сдвигами. Первая из них возникла с распадом крупных империй – Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской, с созданием национальных государств и принятием демократических конституций, вводивших, как правило, парламентский режим в форме парламентской республики или конституционной монархии¹⁶⁰. Это достижение, однако, оказалось непрочным. В межвоенный период практически все страны Восточной и Южной Европы от Балкан до Балтики имели авторитарные режимы в виде президентских или монархических диктатур¹⁶¹. Вторая волна была связана с попыткой вернуться к парламентской форме правления после Второй мировой войны. Однако уже вскоре на все эти страны была распространена советская модель номинального конституционализма (представленная сталинской конституцией 1936 г.)¹⁶². Третья волна приходится на 1970-е годы (крушение диктаторских режимов в Южной Европе), получает новый импульс в странах Восточной Европы в конце XX в., связанный с началом перестройки в СССР¹⁶³. Содержание переходного периода во всех этих странах также имело сходные параметры – представляло собой движение от номинального советского конституционализма к реальному. На практике, однако, оказалось, что трудности перехода были более значительными, чем предполагалось до его начала, что вызвало критику транзитологических моделей.

Недостатки представленных теоретических схем транзитарного подхода состоят в следующем: во-первых, они слишком абстрактны: выделение различных фаз революционного процесса подчинено однофакторным (экономическим, классовым, психологическим) интерпретациям и не коррелируется с изменениями правовых форм, имевших место в ходе революции; во-вторых, они имеют линейный характер и плохо объясняют срывы в этом процессе; в-третьих,

¹⁵⁹ Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996; Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, Latin America and Southeast Asia. Ed. by D. Ethier. London: Macmillan Press, 1999; Transiciones y Diseños Institucionales. Maria del Refugio Gonzalez, Sergio Lopez Ayllon (Ed.) Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2000.

¹⁶⁰ Европейские монархии в прошлом и настоящем. XVIII–XX века. СПб., 2001; Судьба двух империй: Российская и Австро-Венгерская монархии в историческом развитии от расцвета до крушения. М., 2006.

¹⁶¹ Autoritäre Regime in Ostmittel – und Südosteuropa 1919-1944 / Hrsg. von E. Oberländer in Zsarb. mit R. Ahmann et al. – Paderborn etc.: Schöningh, 2001; Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.

¹⁶² Из истории европейского парламентаризма: Испания и Португалия. М., 1996; Из истории европейского парламентаризма: Италия. М., 1997; 1917 год и российский парламентаризм. СПб., 1998; Британские политические традиции и реформа власти в России. М., 2005; Парламентаризм // Общественная мысль России XVIII – начала XX века. М., 2005. С. 383–385.

¹⁶³ Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003.

они телеологичны и не раскрывают вариативные механизмы перехода от одной фазы к другой. В связи с этим оказалось важным преодолеть ограниченные рамки «транзитологических» подходов по следующим направлениям: во-первых, отказаться от упрощенной линейной модели переходности, с заранее заданным кругом проблем и предопределенным результатом (заменив ее концепцией циклической смены конституционных форм); во-вторых, расширить информационную основу дискуссии, отказавшись от узких европоцентристских моделей, точнее, механического перенесения полученных формул на другие регионы мира; в-третьих, поставить вопрос о повторяемости моделей, институтов и существовании аналогичных процессов в прошлом¹⁶⁴, в частности, при переходе от абсолютизма к конституционной монархии и демократической республике в период Февральской революции и от них к однопартийной диктатуре большевистского типа.

Методологические трудности позволяет компенсировать когнитивный метод, выдвигающий на первый план информационные параметры социального и правового конструирования. С этих позиций возможно обсуждение специфики революционных процессов в пространственной перспективе – влияния в географическом масштабе (Восточная Европа, Запад, другие регионы), темпоральной перспективе (непосредственное и опосредованное влияние революции и ее мифа на конструирование современного общества), когнитивной перспективе – реконструкции смысла революционной утопии и ее трансформации в нормы, институты и социальные практики. Всякий революционный (и контрреволюционный) переворот предстает как исторически неустойчивое соотношение сил (проектов социального переустройства), которое может получить вариативное разрешение в зависимости от доминирующей картины мира: революция поэтому способна заложить основы программы позитивных устойчивых изменений, либо, напротив, определить вектор крайне неудачного социального («социалистического») эксперимента, цена реализации которого оказывается очень высока. Реформистский выход из когнитивного тупика возможен как проведение модернизации авторитарного режима без разрушения несущих основ общества (доказательства представлены в мировой истории). Это, далее, позволяет доказательно изучать логику революционного цикла, понимаемого как смена фаз когнитивного доминирования находящихся у власти групп по мере реализации доминирующего проекта социальных преобразований. Возникает возможность конструирования моделей и определения технологий такого доминирования.

Важен неоинституциональный подход, позволяющий перевести доктринальные дискуссии на уровень правовых актов, институтов, процессов и технологий, показав, в частности, где была допущена ошибка. Возможности неоинституционального подхода таковы: выяснение соотношения формальных и неформальных институтов и практик, их взаимодействия, причин замены одних другими или их конвергенции в новых институтах; раскрытие самостоятельной роли идеологических принципов, правовых актов, институтов и процессов (технологий) на ключевых фазах революции с целью понимания механизмов и, в частности, институциональных ловушек – ошибочных решений, приведших к крушению демократии в России. Становятся понятны возможности и границы конструирования правовой и политической реальности на конкретных этапах революционного процесса¹⁶⁵. Отметим, что данное направление исследований широко представлено в историографии других революций, в частности – Французской. Его представителями в прошлом могут считаться такие классические авторы как А. де Токвиль¹⁶⁶ или А. Олар¹⁶⁷, а в современной историографии – школа Ф. Фюре¹⁶⁸. Очевидна актуальность переосмысления в этом направлении русской революции.

¹⁶⁴ Медушевский А. Н. Теория конституционных циклов. М., 2005.

¹⁶⁵ Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002.

¹⁶⁶ Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1905.

¹⁶⁷ Олар А. Политическая история Французской революции. Происхождение и развитие демократии и республики (1789–1804). СПб., 1902.

¹⁶⁸ *Furet F.* La Révolution Française. Paris, 1988. Vo I. 1–2.

7. Логика революционного процесса

Вопреки известной мудрости об истории, «не знающей сослагательного наклонения», современная наука стремится к пониманию прошлого, моделируя ситуации, выясняя причины их повторяемости и вариативность функционирования. Парадигма Токвиля в ее интерпретации с позиций теории и методологии когнитивной истории представляет убедительное объяснение логики русской революции как единого социального явления. Сформулированные в ней гипотезы, верифицированные на значительном сравнительном материале, находят разрешение при анализе документации российских политических партий как целостного комплекса источников, несмотря на различие представленных идеологических программ. С этих позиций становится возможна реконструкция причин русской революции как социально-психологического явления в условиях незавершенной модернизации – конфликта традиционных установок и завышенных ожиданий на фоне относительной депривации и общей социальной нестабильности. Логика деструктивного процесса – когнитивный срыв общества в результате отказа от рационального социального выбора и принятия иллюзорной картины мира (революционного мифа) с последующим запуском спонтанного революционного цикла. Эта логика является универсальной для радикальных революций, прошедших все основные фазы когнитивного доминирования, а следовательно – оправдана гипотеза о возможности отыскания сопоставимых форм фиксации стадий процесса и выражающих их документов (безотносительно к культурной, религиозной и национальной специфике соответствующих режимов).

Основные теоретические схемы революции нуждаются в корректировке. Системные теории интерпретировали революцию как смену организационных форм социума, структурные (классовые) теории видели в ней (по аналогии с моделью западных революций Нового времени) смену фаз меняющегося соотношения классовых сил; бихевиористская теория усматривала в революции спонтанную психологическую реакцию масс на подавление базовых инстинктов. Комбинированная теория предлагала сочетание предшествующих трех моделей с упором на последнюю. Развитие этих подходов в историографии XX в. в рамках теории модернизации позволило поставить русскую революцию в сравнительный контекст, но ограничивалось нарративистской, линейной и европоцентристской парадигмой исторического познания. Эти теории, являясь несомненным вкладом в объяснение революции, содержат, как было показано, один общий фундаментальный недостаток: они отрицают возможность управлять революционными процессами и регулировать их деструктивное содержание.

Отсутствие прямой детерминированности в превращении угрозы революции в реальность выражается в неспособности основных политических сил предвидеть время и последствия ее наступления. Механизм смены фаз когнитивного доминирования в рамках революционного цикла определяется такими факторами, как утопизм воззрений основной массы населения (крестьянства); исторически обусловленная негибкость Старого режима в разрешении конфликта права и справедливости в расколотом обществе; отсутствие демократических (парламентских) форм достижения консенсуса; низкая способность умеренных партий к достижению компромиссов; неспособность (в силу отсутствия исторического опыта) сконструировать защитные механизмы против радикального популизма и экстремизма. Неверный социальный диагноз происходящих процессов основными политическими партиями связан с абсолютизацией французской модели и ложными когнитивными установками в отношении смены фаз революционного цикла, неадекватной оценкой феномена большевизма и перспектив Реставрации в краткосрочной перспективе.

Ретроспективная интерпретация российского революционного процесса с позиций теории и методологии когнитивной истории приводит к выводу об отсутствии фатальности революции и смены трех этапов ее разворачивания – крушения самодержавия, Февральской рево-

люции и Октябрьского переворота с последующим установлением большевистской диктатуры. На каждом из этапов сохранялась определенная вариативность исторического выбора, подчинявшаяся когнитивным установкам правящих групп. Возможность революционного срыва в России превратилась в действительность в результате комбинации отсталости масс, авторитаризма политической власти и экстремизма радикальной интеллигенции. Кумулятивное воздействие этих факторов определялось отсутствием адекватного проекта переходного периода, когнитивными установками элит и ошибками политической власти.

Результатом анализа русской революции с этих позиций стало выяснение следующих вопросов: проблема преемственности власти в ходе и после Февральской революции; конституирующая и конституционная власть в условиях переходного периода; каким образом был упущен шанс достичь согласия политических партий и принять демократическую конституцию; как можно было решить проблему легитимации новой власти; что представляло собой двоевластие и альтернативные способы его преодоления; технологии государственных переворотов как решающий фактор определения вектора политической системы (в контексте общего кризиса европейского парламентаризма). Рассмотрение этих параметров позволяет дать ответ на вопрос, почему первая демократическая республика в России потерпела крушение и каковы его уроки для постсоветской социальной трансформации рубежа XX – начала XXI в.

Глава II. Причины крушения демократической республики в 1917 году

История XX в. знает немало примеров конституционных революций, оказавшихся перед сложной дилеммой быстрого осуществления либерально-демократических реформ в неподготовленной стране¹⁶⁹. Крушение парламентаризма в России есть частный случай и первое проявление кризиса классической модели европейского парламентаризма с наступлением массового общества после Первой мировой войны. В разных странах он имел неодинаковые проявления и исход, однако повсеместно выражался в отказе от привычных форм и столкновении с ними авторитарных движений.

Февральская революция в этом смысле есть первая прерванная демократическая революция Новейшего времени (поскольку она закончилась в результате государственного переворота). Основной причиной крушения первой республики являлось господство в сознании ее лидеров установок классического парламентаризма, сформировавшихся в условиях сословного общества, цензовых избирательных систем и отсутствия стабильных массовых партий. Теоретические представления русского либерализма нашли глубокое и последовательное выражение в его социологических учениях, политической философии и конституционных проектах, сохранивших принципиальное значение для реформ настоящего времени¹⁷⁰. Однако их практическая реализация была трудноосуществима в условиях традиционалистского общества, спонтанного крушения самодержавия, подъема радикального популизма и национализма в период Первой мировой войны. Принципиальное значение имела неразработанность продуманной концепции переходного периода, в идеале включающей четкое представление об этапах, институтах и технологиях демократического транзита. Рассматривая парламентские дебаты как средоточие политики, либеральные конституционалисты не увидели новой опасности, сформировавшейся в условиях массового общества. Лидеры Февраля исходили в своей программе из необходимости длительного противостояния самодержавию (постепенного перехода к парламентской монархии британского типа), не учитывая в своей тактике того факта, что монархия в России была не только символом, но и реальным носителем власти (как и коммунистическая партия до 1991 г.). Свержение этой власти означало одновременно кризис легитимности режима и кризис системы государственного управления.

Совершенно оправданно моральное противопоставление двух революций. Политическая идеология и приемы управления февральского и октябрьского периода русской революции, подчеркивал М. Вишняк, качественно различны с точки зрения методов отстаивания власти: «В прямую противоположность Октябрю Февраль предпочитал быть гильотинированным, — лишь бы не гильотинировать. Это можно считать непростительной ошибкой, но это так. В этом Февраль как бы следовал завету Дантона»¹⁷¹. Этот взгляд опирался на сравнение русской и французской революций, общим результатом которых стало крушение демократии и установление царства террора¹⁷². В сравнительном контексте Февральская революция ретроспективно признавалась критиками не более как «историческим выкидышем» и «прелюдией к большевистской революции» (П. Б. Струве), а основная ошибка русской демократии усматривалась (А. Керенским) в том, что она психологически не учла, что контрреволюция может прийти

¹⁶⁹ Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998.

¹⁷⁰ Медушевский А. Н. История русской социологии. М., 1994; *Он же*. Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX – начала XX в. М., 2010.

¹⁷¹ Вишняк М. Два пути (Февраль и Октябрь). Париж, 1931. С. 195.

¹⁷² Алданов М. А. Deux révolutions. P., 1921.

в форме не правого, а левого экстремизма¹⁷³. Но для современного аналитика недостаточно дать исключительно моральную и психологическую оценку прошлого, важно выяснить, почему произошел срыв демократии в России и как избегать подобных ошибок в дальнейшем.

¹⁷³ Струве П. Б. Дневник политика (1925-1935). М., 2004. С. 242; Керенский А. Февраль и Октябрь // Современные записки. 1922. Т. IX. С. 269–293.

1. Конфликт легитимности и законности: проблема преемственности власти в ходе и после Февральской революции

Когнитивный диссонанс как отправная точка революции наиболее четко выражен в противоречии действующего государственного права и его восприятию оппонентами режима. Конфликт легитимности и законности – характерная черта радикальных революций с позиций политической социологии. Отказ от старой правовой системы означает конституционную революцию или переворот. Политическое содержание Февральской революции состояло в переходе от дуалистической монархической системы (которая к моменту революции представляла собой монархическую диктатуру) к демократической политической системе, провозглашенными целями которой стали правовое государство, парламентаризм, многопартийность и идея принятия новой конституции на всенародно избранном Учредительном собрании. Важнейшими этапами этого процесса следует признать отречение монарха, создание Временного правительства, начало разработки конституции (Юридическим совещанием при Временном правительстве). В этом смысле политическая революция была вполне легитимна. Однако с формально-юридической точки зрения произошел радикальный разрыв правовой преемственности, ставший одной из причин нестабильности новой власти.

Во-первых, существовала общая юридическая неопределенность в отношениях Государственной думы и монарха, которая вытекала из Основных законов в редакции 1906 г.¹⁷⁴ Это была система монархического конституционализма германского типа, которая сочетала элементы дуализма в организации власти с положениями, дающими реальное преобладание монархической власти. Установление данной системы Манифестом 17 октября 1905 г. представляло собой вынужденный компромисс между монархической диктатурой и конституционной системой – решение, фактически навязанное царю СЮ. Витте и принятое под влиянием великого князя Николая Николаевича. Николай II считал, что попытки ограничить монархию в России есть «истинная чепуха», а принятие Манифеста определял как «день крушения»¹⁷⁵. Царь придерживался идеи патриархальной монархии – необходимости соответствия управления «самобытным русским началам», воплощенным в единении между царем и земскими людьми. В либеральной политической культуре, напротив, доминирующее значение приобрела идея монистического парламентаризма в виде парламентской монархии британского типа или даже парламентской республики по образцу Франции того же периода. Эйфорическая вера кадетов в парламентаризм как святыню не была поколеблена первой русской революцией, но, напротив, вызывала неприятие думской монархии, разочарование в которой возникало из-за бюрократизации режима и подмены самой идеи народного представительства¹⁷⁶. Столыпинская модель политической системы предлагала прагматический синтез этих двух крайних позиций (патриархальной и конституционной монархии), отстаивая курс авторитарной модернизации¹⁷⁷. Однако она встречала жесткую оппозицию как либеральной общественности, так и представителей правящей бюрократии. Столыпину не удалось создать правительство общественного доверия или его эрзац: попытки привлечь либеральную оппозицию не увенчались успехом. В условиях, когда либеральное общественное мнение отстаивало конституцию и пар-

¹⁷⁴ Свод Основных государственных законов в новой редакции от 23 апреля 1906 г. // Свод законов Российской империи. 1906. Т. 1.

¹⁷⁵ Дневник Императора Николая II. 1890-1906. М., 1991. С. 88, 249.

¹⁷⁶ Революция 1905–1907 гг. глазами кадетов (Из дневников Е. Я. Кизеветтер) // Российский архив. М., 1994. Т. V. С. 374.

¹⁷⁷ Столыпин П. А. Программа реформ. Документы и материалы. М., 2003. Т. 1–2; Столыпин П. А. Переписка. М., 2004.

ламентаризм, царь, как показывают записи его дневника, поддерживал все инициативы по их сворачиванию – роспуску Думы и введению мнимого конституционализма.

Данная система получила в литературе того времени выразительное определение «мнимого конституционализма», характер которого еще более обострился в условиях войны и связанного с ней широкого использования института чрезвычайного законодательства¹⁷⁸. По мнению кадетов, от русской конституции осталась лишь ст. 87, которую власть использует для сохранения власти¹⁷⁹. Этот момент стал определяющим в условиях революционного коллапса российского Старого порядка. В результате распада системы политических институтов империи «государственная машина сошла с рельс»¹⁸⁰. Государственная дума 26 февраля указом Императора Николая II была распущена, а деятельность ее прервана на неопределенный срок одновременно с Государственным Советом. Следовательно, по действующему основному законодательству Государственная Дума собраться не могла, но когда Временному комитету Государственной думы пришлось возглавить начавшееся революционное движение и взять всю полноту власти в свои руки, встал вопрос о легитимации ее собственной власти.

Во-вторых, неоднократно констатировалась юридическая некорректность акта об отречении: царь мог отречься только за себя, но не за сына; престол по действовавшему законодательству не мог быть передан великому князю Михаилу Александровичу – брату царя, тем более что формальные основания для отстранения прямого наследника престола отсутствовали¹⁸¹.

В-третьих, передача власти великому князю Михаилу была незаконна в силу того, что нарушала установленные процедуры наследования. Основное противоречие акта 3 марта виделось экспертам в том, что великий князь отказывался от верховной власти, которой он юридически не располагал. К этому, по мнению В. Д. Набокова, и должно было свестись «юридически ценное содержание акта»¹⁸².

В-четвертых, отмечалась некорректность акта отказа самого Михаила Александровича. Набоков констатировал, что отказ великого князя (даже если исходить из презумпции его законности) мог быть сделан лишь в пользу верховной власти, т. е. Учредительного собрания, а не в пользу Государственной думы и тем более Временного правительства. Избранное решение проблемы, отмечал Набоков, имело целью торжественно подкрепить полноту власти Временного правительства и преемственную связь его с Государственной думой. В. А. Маклаков вообще считал, что в феврале 1917 г. революции могло не быть, если бы отречение не сопровождалось разрывом правовой преемственности. Великий князь не имел права подписывать манифест 3 марта даже в том случае, если бы он был монархом, поскольку манифест, вопреки существующей конституции, без согласия Думы объявлял трон вакантным до созыва Учредительного собрания, устанавливал систему выборов этого Учредительного собрания и передавал до его созыва Временному правительству абсолютную власть, которой не имел сам

¹⁷⁸ Конституционное государство. СПб., 1905; *Чичерин Б. Н.* Конституционный вопрос в России. СПб., 1906; *Ковалевский М. М.* Общее конституционное право. СПб., 1908; *Лазаревский Н. И.* Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908; *Кистяковский Б. А.* Государственное право (Общее и русское). Лекции. М., 1909; *Косокиш Ф. Ф.* Лекции по общему государственному праву. М., 1912; *Котляревский С. А.* Конституционное государство: опыт политико-морфологического обзора. СПб., 1907; *Он же.* Юридические предпосылки русских Основных законов. М., 1912; *Гессен В. М.* Основы конституционного права. Пг., 1917. Подробнее: *Медушевский А. Н.* Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998.

¹⁷⁹ Протоколы Центрального комитета Конституционно-демократической партии. М., 1998. Т. 3. С. 328.

¹⁸⁰ *Родзянко М. В.* Крушение империи. М., 1990. С. 215.

¹⁸¹ Манифест отречения Николая II // Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев. Документы. Л., 1927. С. 223; *The Russian Provisional Government. 1917. Documents. Selected and edited by R.P. Browder and A. F. Kerensky.* Stanford, California, 1961. Vol. I–III; Февральская революция 1917 года. Сб. документов и материалов. М., 1996; Подробнее: *Катков Г.* Февральская революция. М., 2006.

¹⁸² *Набоков В. Д.* Временное правительство (воспоминания). М., 1991; *Набоков В.* Временное правительство // Архив русской революции, издаваемый Г. В. Гессеном. Берлин, 1920. Т. 1. С. 9–96.

подписавший акт. Получалось, что акт, подписанный великим князем Михаилом в нарушение Основных законов, становился, в сущности, единственным юридическим основанием власти революционного Временного правительства и наделял его в полном объеме также законодательными полномочиями. «Конституция, – заключал Маклаков, – этим была полностью упразднена; всякая связь между новой властью и старым порядком была разорвана. Это и было уже подлинной революцией, сдачей власти “революционным Советам”, что прямой дорогой привело к Октябрю»¹⁸³. «Преступным актом 3-го марта, – соглашался С. П. Мельгунов, – все было скомпрометировано – манифест явился сигналом восстания во всей России»¹⁸⁴. Сходна позиция П. Н. Милюкова, считавшего, что ошибки революции происходят из «дефектности в самом источнике, созданном актом 3 марта»¹⁸⁵.

В-пятых, отметим юридическую противоречивость деклараций Временного правительства: одна давалась от Временного комитета Государственной думы (к которому перешла власть в ходе революции 27 февраля), другая – от Временного правительства (сформированного 2 марта), причем упоминался и Исполнительный комитет. В первой декларации Временного правительства, отмечал Набоков, «оно говорило о себе, как о кабинете», и образование этого кабинета рассматривалось как «более прочное устройство исполнительной власти», во втором – этот мотив «ответственного правительства» был затушеван¹⁸⁶

¹⁸³ Маклаков В. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1980–1917. М., 2006. С. 324.

¹⁸⁴ Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961. С. 357.

¹⁸⁵ Милюков П. Н. История Второй русской революции. М., 2001. С. 51. См. также: Вишняк М. Политика и история в «Истории русской революции» П. Н. Милюкова // Современные записки. 1927. Т. XXXII. С. 434–452.

¹⁸⁶ Сравните два документа: «Декларация Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депутатов // Речь № 55 (3797) от 5 (18) марта 1917 г. С. 2 и «От Временного правительства» (Обращение к гражданам Российского государства от 6 марта 1917 г.) // Речь № 56 (3798) (Вторник, 7 (20) марта 1917 г.). С. 2.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.